

2116
Б.44



ЛИТЕРАТУРА
НАРОДОВ
КАЗАХСТАНА

Герольд
Бельер

РАЗЛАД





ЛИТЕРАТУРА
НАРОДОВ
КАЗАХСТАНА

*Геронд
Беньер*

РАЗЛАД

Роман



Алматы
"Жазушы"
2008

Министерство культуры и информации Республики Казахстан
Комитет информации и архивов
Программа выпуска социально-важной литературы

Бельгер Г.

Б 44 Разлад: Роман. – Алматы: “Жазушы”, 2008. – 208 с.

ISBN 978-601-200-145-7

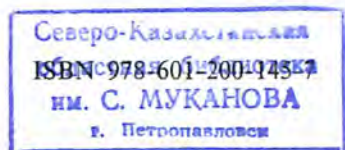
Тракторист Карл Деграф и мугаллим Мамбет Адилов – ауылчане. Они выросли, работали, познали все тяготы военного и послевоенного лихолетья, воспитали детей и состарились в ауле у озера с одинокой турангой. Наступили новые времена, родной аул хирел на глазах, и, спасаясь от одиночества, Карл Деграф подался в Германию, а учитель Мамбет Адилов – к своему преуспевающему сыну, крутому бизнесмену в Алматы. В сытой, ухоженной Германии Карл почувствовал себя ненужным. Невостребованным оказался и Мамбет в большой квартире в элитном доме. Благополучная жизнь не принесла старикам душевной гармонии...

Роман известного писателя Герольда Бельгера насыщен конкретными реалиями нашего непростого бытия, пропитан воздухом эпохи.

531594

Б $\frac{4702250201-075}{402 (05) - 08}$

ББК 84(5Каз-Рус)-44



© Бельгер Г., 2008
© Издательство “Жазушы”, 2008

*В дому разлад – и дому не рад.
Что за клад – коли все в дому на разлад.*

Глава первая

Третий день тянул с озера студеный ветер. Березовые и осиновые колки вокруг зябко сникшего аула приуныли, покорно роняли листву. Кудлатые тучи все плотнее затягивали небо, сплошняком струились над степью, исходя иногда сиротливым дождичком. С утра, надрываясь во все горло, черной стаей низко-низко пролетали огрузневшие за осень вороны. Они деловито спешили к мусорной свалке в долине за аулом, откуда потом на закате дня возвращались на ночлег к лесочкам.

Осенняя тишь усугубляла одиночество.

Старый аульный мугаллим Мамбет Адилев в последнее время не находил себе места. Со дня на день ему предстояло покинуть родной аул, и, по всему виду, навсегда. Это его тревожило и тяготило. Шутка ли – оставлять на веки вечные родной край, родимую сторонушку... Здесь он увидел впервые белый свет, здесь был его пуп резан, отсюда ушел на войну, сюда же возвратился изрядно помятый, израненный, здесь долгие годы учительствовал в местной начальной школе, женился, похоронил жену, тихую, безответную Зуру, и теперь на восьмом десятке жизни надо было все бросить и уехать к сыну в далекий, большой город, который и манил, и пугал.

Что поделаешь? Мало ли кто в наше смутное время покидает отчий край? Жить одному в осиротевшем, хиреющем из года в год ауле становится невмоготу и бессмысленно. Старость драной кошкой неожиданно запрыгнула на плечи и нещадно придавливала своей глухой тяжестью к земле. Может, там, на новом месте, у сына, снохи и внуков, удастся встрепенуться и наполнить оставшуюся жизнь каким-то смыслом, избавиться от гнетущего, иссушающего душу одиночества...

Ай, вряд ли... Не было еще такого, чтобы на склоне лет человеку на чужбине было хорошо.

Но иногда разыгрывались в мыслях радужные картины: вот сидит он на кухне в уютной городской квартире, бла-



женствует, медный самовар посвистывает на столе, сноха потчует свекра духмяным чаем со сливками и учтиво внимает его длинным, как сказки из «Тысяча и одной ночи», рассказам об ауле, о невозвратной жизни, а внуки, разинув рты, воркуют-щебечут: «ата... ата...»

Ах, благодать! О какой усадле еще мечтать пожилому человеку...

Старый мугаллим ждал весть от сына. Еще весной Бахыт наметнул, что ближе к осени он непременно заберет отца к себе, в новую просторную квартиру в элитном доме, где заслуженного пенсионера-ветерана ждет безмятежная, обеспеченная старость, без забот и хлопот, на всем готовом и где, наконец, предстоит ему вкушать все блага цивилизованной жизни. Бахыт особенно нажимал на слово «цивилизованная». В его преподнесении оно звучало как «райская», но старик смутно представлял, в чем эта цивилизованность выражается, кроме того, что есть постоянный свет, горячая вода, теплый закуток, куда, по народной молве, сам падишах ходит пешком и уединяется за дверью.

Мамбет-аксакал давно смирился с неизбежностью отъезда, заблаговременно раздал скудный домашний скарб аульчанам, а дом и корову отписал единственной женге – вдове погибшего на войне брата.

Все долгое лето в ожидании знака от сына старик слонялся без дела по заметно опустевшему аулу, точно неприкаянный. Ни о чем уже не надо было заботиться – ни о сене для коровы, ни о топке на зиму, ни о ремонте по дому (о том теперь пусть болит голова расторопного внука Майры-женге из райцентра), но чувствовать себя никому и ничему не нужным было тягостно. Долгими, бесконечно тянущимися днями Мамбет-мугаллим до одури читал изрядно потрепанные за годы учительства книги, по давней привычке записывал в клеенчатые общие тетради свои наблюдения, стариковские раздумья, иногда кропал стишки, которые даже районная газета редко когда печатала, ходил на могилку Зуры, окапывал осевший холмик, чтобы бродячая скотина не тревожила его покой, заглядывал к аульчанам, к таким же, как он старикам и старушкам, выводывал их «амандык-саулык», жите-бытье, здоровье-благоденствие, навещал давнего собеседника Карла, куковавшего бобылем в своем доме-бастионе на дальнем берегу озера.

И так мелькали дни, недели, а сын все помалкивал. Видно, что-то там, в южной столице, не заладилось...



Вот и сегодня старик Мамбет неожиданно свернул на узкую, полузаглохшую тропинку вдоль заросшего ряской, кувшинками, осокой, темного от ненастья, рябью подернутого озера, по-мальчишески сбивал дрыном метелки камыша, вдыхал бодрящие запахи увядающей травы и терпкую сырость от набухшей после дождя земли. Одинокого путника тут же заметил одуревший от скуки дворняга Рекс, выбежал навстречу, забил мокрым, в репейниках, хвостом, прижался к сапогам гостя, принялся, завертелся, выражая свою собачью преданность и радость.

Е-е... гут, гут, зер гут, – бормотал растроганный мушкетером, убежденный, что Рекс понимает только по-немецки. Старый Карл говорил с аульчанами совершенно свободно по-казахски, а по-немецки общался уже долгие годы исключительно с Рексом.

– В этом ауле немцев осталось только двое, – пошучивал иногда Карл-аксакал. – Я да Рекс. Без меня ему и беседовать станет не с кем. Может, его в Германию с собой забрать? Так у него повадки казахские. Околеет он там от немецкого орднунга. Никакой воли. Будет на цепи сидеть и в наморднике ходить, боясь невзначай запачкать тротуар или газон.

Однако, чудилось, Рекс и по-казахски все прекрасно понимал, а вот говорить в отличии от своего хозяина не умел.

Поздоровавшись с давним знакомцем и желанным гостем, воздав дань приличию, Рекс опрометью застрочил наряд к дому, чтобы сообщить радостную весть. Увидев на крыльце хозяина, ликующе тявкнул раза три.

Мамбет улыбнулся. В ауле зубоскалили, будто умный пес Карла-аксакала и лает по-немецки: коротко, сдержанно, экономно. Не так, как аульные пустообрехи, которые, войдя в раж, долго не в состоянии успокоиться.

– Эй, бауырым, жив-здоров? – спросил по обыкновению Мамбет по-казахски.

– Е-е, слава Всевышнему! Шукир, шукир! – также по-казахски ответил Карл.

Был Карл долговяз, костляв, жилист. По двору и саду ходил в обтерханных до белизны кирзовых сапогах, даже летом не снимал затрапезную меховую безрукавку и застиранную шерстяную шапчонку. Всю жизнь Карл проработал на тракторе и комбайне и от него до сих пор разило соляркой, мазутом, бензином. И никакая баня не могла



вытравить эти въевшиеся в плоть запахи. Огромные, раздавленные работой руки его не знали покоя. Рассказывали остряки, что Карл даже во сне что-то непременно мастерит: сети плетет, мордушки ладит, черенки строгают. Просыпался он вместе с птицами и день-деньской копошился во дворе, возился в бесконечных клетушках-закутках, перетаскивал-перекачивал кряжистые пни с места на место, все наводил какой-то порядок. Все в ауле знали, что Карл-аксакал не сегодня-завтра укатит в свой фатерланд, к детям и внукам, но он все что-то медлил, оттягивал, выжидал, чинил крышу, поправлял забор, обновил ворота, переклад печку, аккуратно складывал сушняк.

Старики, соблюдая степной ритуал, обменялись каскадом традиционных приветствий:

- Ия, мал-жан аман ба?
- Благополучно ли в твоём доме?
- Здоровы ли твои соседи?
- В здравии ли дети-внуки?
- Благоденствуют ли твои близкие?
- Не омрачают ли заботы твою душу?
- Не тревожат ли дурные сны?
- В целостности ли руки-ноги?
- Не ноет ли поясница?
- Царствуют ли покой и тишина в округе?
- Ладно ли горит под очагом-треногой?
- Подрастают ли твои потомки?
- Какой хабар-ошар доходит до твоих ушей?

Так они долго обменивались словами вежливости, заповеданными неторопливыми предками степняков, пока, утомленные, не обменялись по-восточному грудь в грудь. Вообще-то полагалось еще расспрашивать о женах, и раньше они обязательно входили в набор расспросов, но вот уже лет пять-шесть оба старика маялись на белом свете бобылями и тема эта отпала сама собой, только саднила душу.

Рекс с любопытством прислушивался к длинным речам стариков, попеременно задирая то одно, то другое ухо, а когда старики обнялись, похлопали друг друга по спине и плечам, от избытка нежности и счастья взвизгнул и забил хвостом по земле.

– Ну, проходи, Маке. Что будем пить – чай или что-нибудь другое? – поинтересовался Карл.

– Что-нибудь другое, – тотчас ответил Мамбет. – Чай мы гоняем каждый день.



Отменная ячменная бражка, настоящая на диком хмеле и заправленная для благородного цвета свеклой, не перевоспиталась в усадьбе Карла Деграфа. В свое время ею наслаждались многие аульчане, а при жизни Марии, случалось, и сабы-хатуны пригубливали ее в охотку. Бывало, частенько навевались к Карлу-агаю незваные гости, и в одиночку, и турьбой, оглядывались по сторонам и, усмехаясь, намекали:

– Оу, Кареке! Не угостишь ли нас немецким кумысом? А то душа иссохла вся.

Карл никому не отказывал, потчевал всех подряд. Полулитровая эмалированная зеленая кружка стала достопримечательностью в ауле и даже за его пределами. Кто только из нее не пил, наслаждаясь розовым хмельным напитком, приятно согревающим нутро. Иные, опустошив зеленую кружку и обтерев ладошкой губы, смущенно просили:

– Кареке, повторить нельзя ли?

– Нельзя, – строго говорил Карл. – Не годится лишать напиток его священного достоинства.

С Карлом никто не спорил: слова его звучали веско. Смирненно говорили: «Е-е... немец знает. Умеренность должна быть во всем. Это только мы, казахи, ни в чем предела не знаем».

С уходом Марии бражка на усадьбе Карла изменила вкус: стала более крепкой и терпкой, не такой, как прежде, мягкой и сладкой, немного на самогон смахивала, но все равно пила с удовольствием, а главное – веселила душу, ширила грудь и приятно кружила голову.

Карл поставил перед гостем знакомую зеленую кружку с пенящимся розовым напитком, себе же плеснул в фужер водки.

Мамбет удивленно вскинул брови.

– Бражку пусть казахи пьют, они, замечаю, свою норму по водке вполне выполнили. А немцы, как всегда, немного поотстали. Придется наверстать.

– Ай, бауырым! Вечно что-то придумашь... Ал, кеттік. Поехали!

– Нет, Маке. Так не годится, – строго заметил Карл, встопорщив белесые брови и повесив длинный нос. – Ты же не урус, чтобы сходу за ворот закладывать. Давай толкай речь!

Мамбет спохватился, отставил кружку, откашлялся. И в наступившей тишине торжественно произнес:



– Пусть не померкнет над нами солнце, пусть вечно светит луна. Да не обрушится никогда наш шанрак. Да не покажется остов. Да не потухнет огонь в очаге. Пусть наши дети и внуки не ведают горя. И пусть нас, побратимов, не гнетут черные думы. Пусть милосердие Всевышнего не оставляет нас. Пусть мерцает на небосклоне твоя немецкая и моя казахская звезда. Пусть ...

– Е-е... болды, болды... Хватит, уймись. Достаточно, – остановил Карл ударившегося в расхожее краснобайство собрата. – Ауминь!

И, огладив по-мусульмански кончиками пальцев лицо, Карл поднял стопку.

– Бисмилля, – произнес по привычке Мамбет, осторожно поднеся зеленую кружку к губам.

Выпили, крикнули, помолчали, прислушались к тому, как пошло. Потом Карл, шлепая отопками, направился в закуток в углу веранды и принес связку проявленных чебачков.

– Во! Самый раз. Дұрыс болды.

Из просторной веранды хорошо просматривалась вся усадьба Карла с садом, с разными пристройками, мастерской, баней, душем, маленькой кузней, курятником, балаханой над кладовой, какими-то клетушками. Еще недавно на подворье Деграфов бывало многолюдно и шумно. Двух дочерей, одного сына, пятеро внуков растили-воспитывали одно время Карл с Марией, все возились-копошились с утра до вечера на любовно ухоженной усадьбе, вечерами нередко музицировали на струнных инструментах, слаженно пели немецкие, казахские песни – весь аул заслушивался. Дружную семью Деграфов ставили всем в пример. Говорили: «Этот немцы – простой механизатор, а правильно живет. Все у него по уму, во всем здравый смысл». О Карле и его детях, скромных работагах, часто писали в газетах, даже областное телевидение не однажды репортажи делало. Называли Деграфов образцами, передовиками, мажками, умельцами, награждали знаками, грамотами, сажали в президиумы. Мамбет едва ли не каждый год посылал заметки о своем друге в немецкие газеты, а в областную казахскую как-то даже тиснул стишок под названием «Мой немецкий тамыр». Весь аул знал его наизусть.

И вот неожиданно-негаданно опустела обустроенная, казалось, на века веселая усадьба. Вышла замуж старшая дочь Эльма, знатная доярка, за заезжего механизатора-бе-



лоруса, работавшего на уборке, и, недолго думая, успев закончить агротехнику, укатила с ним в Россию. А еще через два года за ней последовала Зельма, телятница и певунья, и подалась с Оскаром-меннонитом из соседнего поселка в Германию. Самое печальное – с молодыми уехали в псевдомый фатерланд двое внуков-забияк. Какой спрос с дочерей? Они временные жильцы в отчем доме. Вся надежда была на единственного сына Эдвина, который, казалось, шел по стопам отца – такой же покладистый, безотказный, мастеровитый. Нет и ему задурила голову невестка, тоже захотелось жить в Германии, хоть и была русская из соседней Козловки. Настояла-таки на своем, отправила, куда надо, антраги, не раз ездила в Германское посольство, даже языковой тест умудрилась сдать, не зная по-немецки ни бэ, ни мэ, ни кукареку, подключила к своей затее и золовку, сорвалась с места. Эдвин только ушами хлопал да руками разводил. Пошел за расторопной женой, как бычок на привязи. И остались куковать в доме, на сразу потускневшей, опемевшей усадьбе двое стариков, в одночасье почувствовавших себя никому не нужными. Об отъезде из аула супруги Деграф и во сне не помышляли. «Как я могу жить в Германии, с которой меня ничего не связывает? – недоумевал Карл. – Ну, какая же она историческая родина? Ни я, ни отец, ни дед, ни прадед, прапрадед там сроду не жили. Российский немец – я еще могу понять. Там мои предки обитали. Оттуда меня выслали, изгнали, вытурили. Казахганский немец – тоже понятно. Здесь прожил жизнь, пахал землю, построил дом, вырастил детей. Но германский немец – с какой стати? Сроду им не стану. И никакая она не историческая родина. Чужбина. Нет, нет. Найн!»

Мария соглашалась с мужем. Она тоже не представляла, как можно уйти от себя, бросить все нажитое за долгую жизнь, ломать так прочно заведенный уклад, но однажды высказалась в том духе, что родина для женщины там, где ее дети, где ее детям хорошо. И Карл понял, что червь сомнения постоянно грызет душу тихой Марии. «Ну, и где твои дети? Где твоим детям хорошо?!» – вскинулся Карл. Мария промолчала, вздохнула только. Она чувствовала: ни в России, ни в Германии детям не больно хорошо. И неизвестно, когда у них жизнь наладится. Но понимала: и в ауле молодым делать стало нечего. Одни слоняются без дела, другие мыкаются в городах.

«Ничего, образумятся, пообломают себе рога, вернутся», – утешал Карл себя и Марию. Но вскоре понял: не вер-



нутя. Аул хирел, угасал, умирал. Новая власть махнула на него рукой, поставила крест. Более значительные дела заботили независимое государство. И уповать на чудо, кажется, не приходится. Что еще остается? Слушать кваканье лягушек, дуреющих от любви? Любоваться полем, которое третий год не засевают? Слоняться по пустым комнатам? Внимать жалобам аулчан?

Все вокруг пришло в запустение и разруху. И не видно уже никакого просвета.

– Ну, и кому это все оставишь? – указал взглядом во двор Мамбет.

Карл опустил веки, подергал кустистыми бровями, вздохнул:

– Ясно: с собой не заберу. И детям ничего этого не нужно. Продать тоже некому. Кому нужно немецкое подворье в глухом ауле? Отдал бы под медпункт – так теперь и медпункта нет. Отдал бы под контору – конторы нет. Шикарная была бы дача для какого-нибудь богатея – да от города далеко... Оставлю, наверное, Маруар. Хибара ее разваливается, а детей-внуков куча. А, может, сам еще разок-другой заверну сюда. Вряд ли в Германии уживусь. От скуки умру. А здесь простор, воздух, озеро, леса. Траву покосишь – удовольствие. Рыбку половишь – радость. Зайчишку поймашь – удача. Костянику в лесочке собрал – счастье.

– Верно, верно говоришь. И меня что в Алматы ждет? Конечно, с сыном хорошо. Но придется ли ко двору? Приживалой жить – не сахар.

Помолчали. Погоревали. Карл вспомнил Марию, Мамбет – Зуру. Жены покоились на одном кладбище, только широкая вспаханная полоса между двумя холмами разделяла их.

– Что поделаешь... Не будем гневить Создателя. Поели, попили. Долю отмеренную извели. Пора, видно, и честь знать.

– Да-а, Маке. Жизнь изменилась. Время другое.

– И люди не такие, как раньше. Суетливые, дерганые, мятущиеся.

– Недаром везде взрывы, ураганы, наводнения, землетрясения.

– Акырзаман наступает. Совсем обиделся Творец на неразумных людишек.

Вздروгнули верхушки оголившихся деревьев. Ветер с озера подул заметнее. Жухлые листья заметались по двору. Ранние сумерки поползли со стороны колок.



– Апырай, неужто осень всерьез надвигается? И так на душе муторно.

– Может, Маке, малость повеселить твою душу?

– Было бы кстати.

Карл вынес из спальни свой старый, с залатанными мехами, аккордеон, пробежал корявыми пальцами по обшлепленным клавишам, нащупал нужные басы.

– Ну, и что тебе сыграть?

– Сначала что-нибудь немецкое.

Карл поправил лямки, поустойчивей поставил на колени аккордеон, прошелся разок-другой сверху вниз по клавишам, дернул кадыком.

– О, wie ist es kalt geworden...

Голос его прозвучал резко, с жалобной ноткой. Мамбет слышал это впервые. Обычно Карл, разогревая себя, долго играл задумчивые вальсы, озорные польки, грозные марши, игривые, с переборами, частушки. А сегодня он запел надрывно, будто сетовал на судьбу, и басы под пальцами его стонали, гудели, рокотали.

– ...Rauhe Winde weh'n von Norden,

Und die Sonne scheint nicht mehr...

– Оу, о чем поешь, Кареке?! Тоску наводишь.

– Старинная немецкая песня. Мать моя любила.

– Грустная. Не песня – плачь. Давай, споем по-казахски.

Карл переключил регистр. Заиграл что-то раздумчиво-протяжное. Теперь, закинув голову, выставив белую бородку, в такт затянул Мамбет:

– Кө –зім-нің қа-а-ра-сыы...

Тотчас октавой выше тенорком вступил Карл:

– Көнілімнің са-а-ана-сыы...

И, набрав в легкие побольше воздуха, тамыры в лад, слаженно пропели весь куплет:

– Біт-пей-ді іш-тегі

Ғашықтық жарасыы.

Рекс за верандой, услышав звуки аккордеона и знакомые голоса стариков, приподнял оба уха, встал на задние ноги и с любопытством уткнулся мордой в окошко.

– Видишь? Наше искусство один только Рекс и оценит.

И чтобы обрадовать пса, Карл заиграл громче, перебирая басы.

– Бітпейді-і іштегі... – более густо, напрягая горло до дрожи, повторил Мамбет.



Рекс прижал уши, вытянул кверху морду, зажмурился и громко заскулил. Старики расхохотались.

Сумерки сгущались. Мамбет допил бражку в зеленой кружке, догрыз рыбешку.

— Ал, хаир, аксакал. Побреду назад. Я ведь проститься зашел. На днях, видно, отчалию. Там, в Алматы, тебя будет сильно не хватать. И ты в Германии меня не забывай. Как-никак столько лет прожили вместе. По одной земле ступали. Из одного колодца воду пили. Один хлеб ели. Живы будем, может, и встретимся, а, тамыр...

— Солай, солай, — расчувствовался Карл, зашмыгал длинным носом. Белесые ресницы затрепетали.

Вышли во двор. Обнялись.

Рекс сидел рядом, опечаленно глядел то на одного, то на другого старика.

Псу тоже стало грустно.

Темнела тропинка вдоль потемневшего озера. Над лесочком украдкой выглянул месяц. Далеко в низине надрылся угод. Пахло жухлой травой, сыростью и одиночеством.

По тропинке на другой конец аула, размахивая дрыном, брел одинокий старик. Карл и Рекс, молча, долго глядели ему вслед.

Глава вторая

Живописный пустырь пролегал между неким министерством и одним из институтов бывшей Академии наук. На этом месте еще в послевоенное время тесно лепились друг к другу, доживая свой век, ветхие лачуги. Их снесли, вокруг воздвигались громоздкие здания из бетона и стекла, рядом разбили сквер, поставили на возвышение памятник погруженному в глубокие раздумья о будущем потомков ученому, посадили голубые ели и сосны, даже запустили веселый говорливый фонтан, в котором в летний зной купались собаки и дети. А неприглядный пустырь сбоку так и остался. Из-под серой изрытой земли торчали обломки фундамента, громоздились огромные валуны, испещренные ненормативной лексикой и признаниями в вечной любви, высывались уродливые, трухлявые пни, валялись изъеденные дождями и ветрами кирпичи и разный хлам. За несколько лет пустырь густо покрылся диковинной сорной травой, чахлыми кустами акаций, жимолостью, тальником,



вымахнули в рост молодые карагачи, осина, шиповник, даже старые, искореженные пеньки выстрелили гибкими ветками-побегами. Образовалось в центре города подобие запущенного островка диких джунглей. Здесь вдоль бетонного забора, отгородившего институт, по утрам прогуливали собак, днем неутомонная пацанва играла в прятки, в зарослях лопуха пировали бомжи, ночами случались грабежи и насилия. Даже в ясный солнечный день прохожие с опаской обходили дикий участок.

Но видно, кто-то давно нацеливался на этот пустырь. Зачастили вдруг сюда какие-то господа в заморских пиджаках и кожаных куртках. Пригладывались, примеривались. Приезжали на импозантных иномарках, сосредоточенно прохаживались взад-вперед, вдоль и поперек измеряли мрачный пустырь, потом надолго исчезали. Завсегдатаи аллеи по соседству шушукались. Похоже, здесь двухэтажный магазин построят. Нет, нет... скорей всего, гараж. Ну, что вы! На таком видном месте?! Наверняка какой-нибудь выставочный зал. Или картинная галерея. Целый год судили-рядили, гадали-предполагали. А когда вдруг, точно полчища, понаехали самосвалы и бульдозеры, вырубili за полдня под корень все кустарники и деревья, а за неделю выкопали котлован глубиной в два человеческих роста, стало ясно: ни то, ни другое, ни третье.

Тут-то первым всполошился и забил тревогу во все колокола маститый, с мировым именем ученый – директор Института химии. Стал строчить в разные инстанции, слать петиции-эпистолы с перечнем всех своих регалий и титулов. Дескать, что же такое происходит средь бела дня, без ведома и согласия славных тружеников науки, разве мыслимо затевать стройку впритык к институтским лабораториям в нарушение всех пожарных правил, это же не только нарушение всех норм, а формальный беспредел. Куда только смотрят городские власти?! Маститый ученый грозился обратиться в Астану, к Большому человеку, в международные организации, он найдет управу на зарвавшихся нуворишей, творящих произвол. И все жильцы округа не позволят такого бесчинства. Ученый возмущался, бушевал, собирал подписи, обращался в суд и прокуратуру, писал в газетах, обивал высокие пороги, будоражил общественность. И однажды строптивного ученого пригласили к бо-о-ольшому начальнику. Тот вежливо поинтересовался здоровьем-благополучием ученого, восхитился его науч-



ными трудами и мировой славой, потом затвердел лицом и показал пальцем на потолок. От неожиданности ученый растерялся и тоже вскинул взгляд на люстру.

— Знаешь, кто за всем этим стоит? — спросил после долгой паузы начальник. — Догадываетесь? Анау! Да, да, он самый! А еще точнее: его дочка. Так что, почтенный, зря изводите бумагу и напрасно сотрясаете воздух.

— Но, — попытался что-то сказать ученый с мировым именем.

— Никаких «но!» — насутился начальник и грозно задвигал-заклацал челюстями. — Иначе очень скоро забудете, что вы директор и светила науки, а вонючий ваш институт мигом переселят за тринадцатый разъезд!

Светила опустил свою тяжелую, гордую голову и предпочел держать язык за зубами.

А дом строился быстро, в жуткой спешке, с размахом, с грохотом днем и ночью. И за год на месте собачьего пустыря воздвигли сказочный восьмиэтажный жилой дом с кичливой, аршинными буквами, надписью по фронтону — «ЭЛИТСТРОЙ».

Дом оградили витиеватым высоченным железным забором. Все вокруг выложили разноцветными плитками, разбили газоны и клумбы, расставили скамейки. Возле переливающегося на солнце дивного дома с утра до вечера сутились, копошились уборщики, поливальщики, садовники. За железной оградой на размеченной площадке выстроились в чинный ряд разномастные иномарки. По гранитным ступенькам деловито поднимались и спускались отутуженные господа и расфуфыренные дамы.

Чудилось, однако, будто дом нежилой. На балконах ни души. Даже тень не мелькала. Окна задернуты плотной шторой. Не слышно было и детских голосов. Вечером на иных этажах не зажигался свет. Выморочный богатый дом!

Прохожие изумлялись:

— Апырай, кто в этом тереме живет?

— Ясно, что не мышка-норушка.

— Да-а... Публика не нам чета.

— Баи-богачи. Жулики-юркачи. Шустряки-ловкачи.

— Те, что чик-чирик и в дамки.

— Кто верблюда заглатывает с шерстью, а коня с поклажей.

— Некоторые даже, похоже, не проживают здесь.



– Зачем? Когда можно в загородной вилле прохладиться.

– А квартира для чего?

– На всякий случай. Куда же шальные деньги девать?

– Интересно, почему здесь квартирный метр?

– Более тысяч баксов. Точно! А метраж 150-200. Вот и считай!

– Е-е-е...

– А-а-а...

– Ия, ия... Глазей и помалкивай.

– Да-а-а... «Элитстрой» во все щели лезет. Даже детскую площадку мигом прихватит. А бишаринский люд отсюда скоро поганой метлой выметут.

– Ия, ия... Прогуливаться здесь тебе уже не позволят. Отправят за кинотеатр «Сары-Арка».

Глава третья

Место было бойкое. Скамейки вдоль аллеи, тянувшейся вниз от памятника на возвышении до самого парка со знаменитым храмом, не пустовали круглые сутки. На расвете вокруг розария бегала трусцой группа почтенных приверженцев здорового образа жизни. Потом, откуда ни возьмись, выбирались на белый свет бомжи и бомжихи, расхристанные и опухшие и, расположившись поудобнее, по-хозяйски доставали выловленные из мусорных ящиков пакеты с объедками и неторопливо совершали утреннюю грапезу. Вслед за бомжами ближе к полудню со всех сторон подтягивались современные бонны-гувернантки с барчуками и начинали судачить обо всем на свете, перемывать косточки всем в городе, не спуская, однако, глаз со своих своенравных, избалованных воспитанников. Потом здесь отдыхали случайные прохожие по пути в кассу, аптеку, в магазин, киоски, на базар. Шмыгал по аллее озабоченный чиновный люд из бывшего министерства и исследовательских институтов. Дважды на дню тусовались тут степенные пенсионеры, обитающие по близости, по обыкновению с ворохом всевозможных газет под мышками и по причине тугоухости громко, на всю округу, пугая детей, обсуждали последние новости и внутреннюю политику. Обмен мнениями проходил азартно, с обстоятельными комментариями, с безапелляционными выводами и дальносрочными прогнозами.



– Оу, Кареке, заметили: дела-то у наших соседей жаман, ой жаман...

– А у нас лучше, что ли?

– Конечно, лучше. Вон опять пенсию прибавили.

– Это перед выборами. Завтра отберут.

– Прибавят к пенсии тиынку, а цены взлетают на тенге.

– В один кармашек кладут, из другого тотчас вынимают.

– Да-а уж! Государство не обманешь.

– Оу, Исеке, что пишет твоя «Казправда»?

– Об успехе в макроэкономике.

– А до «микро» когда дойдем?

– Скажи, Гереке, с какой стати Америка сует нос во внутренние дела других государств?

– О том казахи давно сказали.

– Как?!

– Сильный задницей жернова крутит.

– Апырай, до чего же казахи приметливый народ!

– Слышали, Шаке, Паленшеева, рассказывают, вот-вот снимут?

– Да, Паленшеева снимут, а Тугеншеева поставят.

– Так он же уже сидел на этом месте?!

– Опять посадят.

– Других нет, что ли?

– Может, и есть, но они подозрительные. А Паленшеев и Тугеншеев проверенные, надежные.

– Значит, так и будут менять шило на мыло?

– А что делать? Такая ри-пор-ма!

– Какая же это реформа, если толчемся на месте?!

Казалось, все государственные и международные дела решались именно здесь, на площадке возле памятника погруженному в глубокие раздумья учсному. Разномастная информация стекалась сюда отовсюду. И многие завсегда-таи «Чоканки» (так это замечательное место называлось в просторечии) знали друг друга годами, десятилетиями и поскольку все они были не первыми встречными поперечными, не шалтай-балтай или халам-балам, а бывшие ответственные работники, ученые, литераторы, журналисты, общественные деятели, сполна познавшие за свой век не один фунт лиха, то каждый обо всем на свете имел свое твердое, выверенное житейским опытом суждение.

Да, место было знатное, многолюдное. И таких бойких, славных очагов общения в огромном городе оказалось не



так и много: площадь перед Дворцом Республики, фонтан у памятника крупному партийному деятелю, сквер у Оперного театра, аллеи в сумрачном городском парке, ну, и место у памятника славному ученому возле неуютной власти Академии наук. Именно здесь бушевали потоки городских сплетен и бурлили интеллектуальные ручьи. Именно здесь обкатывались все грядущие перемены в стране, которые – это надо же! – полгода спустя, как правило, оборачивались реальностью. Большинство завсегдатаев этих мест было верно однажды избранному кругу, однако находились и такие, которые шастали по всем обозначенным точкам в целях расширения своего кругозора или по причине природного любопытства, способствуя распространению слухов-новостей по всему мегаполису.

Глава четвертая

53/594
Все лето Мамбет Казиевич готовился к отъезду, внутренне настраивался на новую жизнь на новом месте, а когда пробил час прощания, растерялся, почувствовал странный озноб в пояснице, будто неожиданно-негаданно обрушилась на него дурная весть. Оказалось, что он и не готов к отъезду. И все привычное – сникший от бесчисленных в последние годы напастей аул, безлюдное озеро, обезлиствившиеся в предзимье колки вокруг, одинокая туранга, скрип колодезного журавля, полугаглюхшая козья тропа, гряда серых увалов вдали – все, все увиделось в перевозданном, милом сердцу очаровании, без чего не представлялось его дальнейшая жизнь. О, боже милостивый, до чего же все близко, кровно, прекрасно! И его, старого аульного мугаллима, вдруг хотят отлучить от всего, что приросло к сердцу, что проникло в самую душу – от родного аула, от земли отцов – атамекен!

Еще вчера заехал в затерявшийся в глуши, заброшенный аул Нижняя туранга на раздрызганной «Ниве» заполосенный председатель аулсовета пустобай Даулет.

– Ойбай, Make, срочно собирайтесь. Велено вас доставить в район.

– Кто велел?

– Сам Саке!

– А ему кто приказал?

– Сам Take!

– А его кто всполошил?



– Ваш сын Баха́.

– Апырай, а! Как снег на голову... Я ведь так не могу. Дай очухаться. Мне же с людьми прощаться надо, – озабоченно пробормотал Мамбет Казиевич.

После долгих прикидок решили отложить отъезд на завтра.

– Как же мне быть? – озадачился аулнай. – Мне же Саке башку снимет.

– Так и передай. Отъезд, мол, откладывается на сутки. Позвони в район Саке; Саке позвонит в область Таке; Таке свяжется с Алматы.

– Ладно, кария. Завтра примчусь снова. Чтоб готовы были, как штык!

Выстреливая клубы дыма, тарахтя на всю округу, разбитая проселочными дорогами аулнайская «Нива» покати-лась на центральную усадьбу – Верхняя туранга.

Мамбет Казиевич, стараясь унять волнение, облачился в свой изрядно поношенный костюм с орденской планкой, с разными медалями и знаками, расчесал бородку, взял в руки витиеватую кизиловую трость и отправился обходить аул.

Когда-то в ауле «Нижняя туранга» мирно дымила добрая сотня очагов. Теперь жидкий дымок едва вился над двадцатью скособочившимися домишками. Сначала старик посетил аульное кладбище у подножья холма. Опустившись на колени возле забуревших от времени камней-стояков, под которыми покоились родные и близкие, пробормотал заученный давным-давно поминальный аят из Корана, перемешав его со словами благодарения по-казахски, благоговейно огладил лицо, а возле мазара Зуры задержался подольше. Смежив веки, сел на валун, живо представил облик тихой, скромной жены, завел с ней беседу.

«Ну, вот, айналайын Зура, да буду тебе жертвой... Сначала ты меня покинула, теперь я от тебя уезжаю... Кто знает, сколько еще суждено мне топтать землю в этой жизни. Побуду с сыном, с внуками. А ты спи спокойно... – У старика задрожала бородка, защипало в глазах. – Значит, судьба. А наступит роковой час, меня привезут сюда, упокоят рядом с тобой. Так я давно решил. И Бахытжан обещал... Прощай. Ты всегда в моем сердце. Думаю, недолго мне осталось...»

«Не горюй. Все правильно. Зачем же тебе маяться одному? Порадуйся на сына и внуков. Счастье, не изведенное



мною, пусть осенит тебя. Светлого тебе пути!»

Голос жены был, как и прежде, тих и ласков.

«Знаешь, как мне тягостно, как горько покинуть родной аул, – пожаловался старик. – Сердце разрывается. Как мне жить на чужбине, Зуражан?!»

«Не отчаивайся. Не на чужбину едешь. Наша же земля. Там наши сын и внуки живут. Разве не счастье это твое на старости лет?»

«Ну, а ты как? Тебе-то одной каково?»

«Судьба... На все воля Всевышнего. А ты живи. Не спеши сюда. Мы и так всегда вместе».

«Спасибо, Зуражан. Прощай!...»

«Прощай, мой Маке! Да не угаснет над тобой солнце».

Старик, опечаленный, но просветленный, спустился с холма и пошел по домам. В крайних двух хибарах никто не жил. Дородная Балшекер простилась с белым светом еще в прошлом году. Дочки разлетелись кто куда, а сын-алкаш, поговаривали, где-то на юге тягал тюки на городском базаре. Никто на похороны матери так и не приехал. И похороны, и седмицу, и сороковину провели по ритуалу сами аульчане. Зброшенное жилье облюбовали одичавшие кошки. Третий год пустовал и следующий дом. Ишанкабул со своей обезножившей байбише перебрался на станцию Жарма, передоверив отчее гнездо соседке Фарида. В засаженном камзоле и застиранном жаулыке, Фарида сидела в шопшале, подкладывая кизяк под треногу, варила на слабом огне кукурузные початки в котле.

– Как живешь, Фарида?

– Шукур, шукур.

– Дети навещают?

– Шукур, случается. Что с них взять? Маятся бедняжки. Никак дырки не залатают.

Беспросветная бедность смотрела изо всех щелей. Не дом – брошенный мазар. Пахло нежитью и дымом. Но Фарида покорно твердила одно: «Шукур – слава Всевышнему. Вокруг если и не благодать, но царят покой и мир. И айналайн правители наши, сказывают, прочно восседают на своих тронах-креслах. И солнце с извечного круга не сошло. Что еще надо человеку – мячу Аллаха?»

«Такие мы, казахи, – печально подумал старый мугаллим. – Нами сказано: на третий день и к аду привыкнешь. Наши казахи и в аду будут долдонить: «Шукур... шукур...»



– А я, Фарида, уезжаю... к сыну... в город. Такие вот обстоятельства...

– Ну, счастливого пути! Удачи! – Старуха засуетилась – Хоть плоток чаю выпей из моих рук.

Фарида сняла котел с треноги, вынула черпаком разбухший кукурузный початок, положила его на деревянный подносик, плеснула из чумазого, помятого чайника кипятка в кесушку, макнула туда сморщенным пакетиком.

– Угошайтесь! Надо бы баурсаков нажарить, да мука вся вышла. Может, племянник на днях подъедет – подкинет.

Мугаллим отщипнул, выковырил из початка золотистый распаренный зернышек, разжевал его, отпил глоток буровой жидкости. Фариду он помнил еще девочкой. Тихая, незаметная была. Рано выдали ее замуж за колхозного пастуха Сейтена. И так всю жизнь хлопотала по дому, за скотиной ухаживала, соседям в хозяйстве подсобляла, детей рожала, а на старости лет осталась одна-одинешенька. И вся жизнь. И вспоминать почти нечего. И сколько таких бедолажек в казахской степи!

– Спасибо, Фарида. Загляни ко мне вечером на прощальную трапезу.

Далее за балкой с чахлыми кустарниками, обглоданными вездесущими козами, находился дом бывшего счетовода Сайрана, косоглазого, кривоногого мужичонки, слегка тронутого умом еще с войны. Он запомнился тем, что, опрокинув в себя стакан огненной водицы, имел обыкновение орать застрявшую некогда в его порушенной памяти разудалую песенку: «Выпьем за родину, выпьем за Сталина, выпьем – и снова нальем». На этом знания Сайрана по русской части полностью исчерпались. Пропев дурной этот куплет, он начинал страшно вращать глазами и выпаливал не то ругательство, не то благословение: «Оттуой мать!» Знойным летом при жуткой сухмени домишко его сгорел дотла, а непутевый бывший счетовод подался к дальней родне в соседнюю область. Пепелище аулчане вскоре превратили в свалку.

Брюхастый сапожник Мухан по обыкновению громоздился на низеньком стульчике в углу передней среди разной рухляди, обрезков и ладил какую-то обувь, сплевывая налево-направо. Возле плиты вся закутанная в обноски пряла шерсть сухопарая Салима. Старики экономили топку, с осени до весны ютились в крохотной передней, довольствуясь маленькой плитой.



– Оу, Make! Что ты такой нарядный сегодня?

– Уезжаю, Мука. Вот прямо завтра и уезжаю. В город. К сыну.

– Э, барекельды! Прощаться пришел?

– Прощаться. И вечером в гости пригласить.

– Вон как! Барашка зарежешь?

– Как положено!

– Жаксы, жаксы! Давно свежатинки не пробовали. Видишь, осталось в ауле одно старичье – шал-шаукан да кемпир-сампыр. Теперь и ты уезжаешь. Вымрет скоро аул. Одно название останется. И то пока туранга стоит. Завтра какой-нибудь дуралей спилит ее на дрова, и следа от аула не останется.

– Озеро останется.

– Какой там! И оно с каждым годом мелеет, высыхает.

– Да-а... Что суждено, того не миновать...

– Говорят, сын твой, Make, важной птицей заделался. Со славными азаматами в государстве дружбу водит. Скажи ему: пусть и на наш аул правым глазом посмотрит. Не чужой ведь.

– Ну, да. Сказать можно. Только вряд ли рука его дойдет до нашего аула. Сколько таких аулов на просторах Казахстана – ой-бо-о-ой! Да и не нужны стали аулы государству.

– Неужели?! Разве не аулом процветает страна? Разве не из аулов вышел казахский народ?

– Времена другие. Жизнь, видно, в город потянулась.

– А что, хлеб в городе растет? Скот в городе пасут?

От сапожника Мукана мугаллим направился в школу. Обшарпанный, давно не беленый домик на бугре состоял из двух комнат-классов и крохотной пристройки рядом с крыльцом. Площадка, называемая некогда спортивной, теперь заросла лебедой и бурьяном. У покосившегося столба, оставшегося от качелей, сгрудились, цепляясь друг за друга, колючие шары перекати-поля.

Почти полвека учительствовал здесь Мамбет Казиевич. Когда-то здесь сосредотачивалась вся аульная жизнь. Здесь проводились всевозможные собрания, шумела детвора, проходили концерты, устраивались соревнования. Здесь молодая чета Адиловых пропадала целыми днями, сменяя друг друга. Веселый шум и гам из школы витал, бывало, над всем аулом. Теперь же было выморочно тихо.

Волнуясь, Мамбет Казиевич приотворил наружную дверь, вошел в коридорчик. На серой с ржавыми разводя-



ми стене висели расписание занятия по четырем классам, список учащихся с вычеркнутыми фамилиями и весь заляпанный, пожелтевший плакатик со старыми фотографиями. «Они учились в нашей школе» – гласила выцветшая надпись. С плакатика взирали скуластые, чернявые рожицы с напряженно вытарашенными глазенками, с оттопыренными ушами и среди них несколько рыжеватых, конопатых, носатых мордашек явно чужого рода-племени. Всех старый муталлим помнил. Вот этот светлолицый, надо же, стал дипломатом. Вот этот выбился в начальники. Еще один прослыл крупным деятелем культуры. Этот плосколицый, с носом-пуговкой стишки шкрябает, книжки издает. А этот долголицый, криворотый обернулся знаменитым музыкантом... Ия, ия... аульный муталлим Мамбет Казиевич наверняка способствовал их становлению. Азы образования они получили именно здесь, в невзрачной аульной школе Нижнего туранги. Неслучайно, надо полагать, шлют иногда по праздникам открытки бывшему муталлиму.

Один класс – самый просторный – пустовал. В другом шли занятия. Мамбет Казиевич осторожно заглянул в приоткрытую дверь. Куляш, единственная учительница на четыре класса аульной школы, собрала всех учащихся в одну комнату и что-то им объясняла у доски. Вообще-то полагалось вести занятия в две смены, но поскольку учащихся в ауле набиралось едва восемь-девять человек, то Куляш в обход инструкции и тарификации, собирала всех вместе и как-то умудрялась укладываться в расписание. Получалось так, что первоклашки занимались правописанием, второклассники корпели над задачками, третий класс заучивал стишок, а четвертый до дыр разглядывал физическую карту. А пели и физкультурой занимались все вместе. И каждому классу отводилось по одной парте, на которых были вырезаны перочинным ножичком еще имена родителей нынешних учеников. Куляш – младшая дочка бывшего колхозного бригадира Малгаждара, который, уйдя на пенсию, занимался скудным хозяйством – обихаживал коровенку и пять-шесть овец. Дети бригадира давно разъехались, искали свою долю на стороне, а младшенькая, окончив районную школу, подалась было в областной город, но что-то не заладилось у нее ни с учебой, ни с работой, и она, поникшая, подавленная, вернулась в аул, считая отныне своей обязанностью присматривать за престарелыми родителями. РайОНО доверил ей начальные классы аульной школы,



не без основания полагая, что приличного специалиста в захолустный аул все равно не заманишь никаким калачом. А тут пропадает свой местный кадр, который и в жилье не пуждается и других каких-либо претензий предъявлять не станет. И вот уже восьмой год Куляш по мере сил и умения обучала аульных шалопаев начальной грамоте. О замужестве она помышляла все реже и реже. Годы мелькали, девичьи грезы таяли, рассеивались, подходящих женихов не предвиделось ни в дальней, ни в ближней округе. И Куляш смирилась с участью старой девы. И старики сознавали: заедают они век своей дочки-неудачницы. Пожертвовала она собой ради них. Отпустить бы ее в город, может, там и нашла бы свою судьбу, да как отпустишь – узка тропинка девичья, и с чем: разве что единственную корову продать, только на сколько хватит этих денег в прожорливом городе, если и жить негде и за учебу нынче платить надо...

При появлении Мамбета Казиевича, своего предшественника и наставника, Куляш по-девичьи смутилась, растерялась, зарделась вся, а дети, тесно прижавшись друг к другу, как озябшие воробышки, разом вскочили с места и заблестели любопытными глазенками.

– Ну, балалар, как дела?

– Жаксы! – вразнойбой ответили дети.

Сидели в верхней одежде, кто во что горазд. Света не было. Топки не завезли. Деньги, еще летом выделенные на отопление, безнадежно застряли в райОНО. В сильные зимние холода Куляш проводила занятия у себя дома. Все четыре класса усаживались в полукруг на домотканом паласе, скрестив под себя ноги, точь-в-точь как в старых туземных школах, заучивали стихи, повторяли все вместе таблицу умножения, что-то писали в замусоленных тетрадках прямо на полу, толкали друг друга, потом расходились по домам. Балжан, мать Куляш, иногда угощала аульных грамотеев только что нажаренными баурсаками, потому на учебниках и тетрадках оставались жирные пятна. Весной, когда солнце взбиралось все выше и возле домов обнажились проталины, дети вновь переселялись в школу.

Мамбет Казиевич помнил: примерно в таких же условиях проходили занятия в ауле в первые послевоенные годы. Но тогда все воспринималось иначе: все, все, от глубоких старцев до несмышленных мальцов, верили, что все эти неурядицы и нехватки временные, что вот-вот наступят другие времена, и все пойдет на лад, как и вся совет-

ская страна, преобразуется и их аул. Теперь вот готовятся отметить шестидесятилетие Победы, и целый мушель лет прошел с тех пор, как объявили независимость, строим новую столицу в степи, а аул захирел, похоже, окончательно, бесповоротно и нет никакой надежды на его возрождение. И сколько таких аулов, как Нижняя туранга, медленно умирает в беспредельной казахской степи! Неужто так судьбой определено? Неужели чтобы где-то процветал город, необходимо повально жертвовать аулами – остовам казахского бытия?

Да-а... все изменилось. Изменился облик земли, изменились люди, изменились нравственные устои. И самое скверное – народ, кажется, смирился с безнадегой. То ли времена настали подлые, о которых предупреждали еще древние казахские акыны и сказители-жирау, то ли души людские очерствели...

Мамбет Казиевич остановился у крайней парты, из-за которой едва виднелись два черноголовых мальчика.

– В каком вы классе?

– В первом, ата.

– Сколько тебе лет?

Беззубый шкет шмыгнул носом, выпучил глазенки, задумался и растопырил пятерню.

– Пять!

– Хм-м... И что так рано пошел в школу?

Шкет осекся, рассеянно поковырял в носу.

– Брат пошел в школу, и он за ним, – пояснила Куляш.

– Ну, и учится. Пусть! Все-таки двое в одном классе. И для отчетности нужно.

– И успевает?

– Пока – да. А надо будет – оставим на следующий год. Или при необходимости переведем в третий класс. По обстоятельствам. А что делать? Не закрывать же целый класс.

– Ия, ия, – согласился Мамбет Казиевич.

Ему эта маленькая хитрость была знакома издавна. Из-за нехватки учеников едва ли не каждый год приходилось кого-то передвигать на класс вперед или, наоборот, пересаживать назад. Ведь в ауле должны были функционировать все четыре класса. В том был заинтересован и РайОНО, иначе что-то не срабатывало в отчетности. Случалось, в школьном журнале фигурировали и мертвые души, то есть, ученики, давно уже сменившие место жительства.



Мамбет Казиевич подошел к соседней парте.

– А ты в каком классе?

– В четвертом! – с готовностью ответил рыжий, вихрас-
тый сорванец.

– Как зовут?

– Тима.

– Тима?

– Внук дедушки Жагора, – подсказала Куляш. – По-казахски говорит лучше, чем по-русски.

– Вон как! Значит, наш казах!.. Скажи-ка, Тима айналайн, что тяжелее: килограмм золота или килограмм хлопка?

– Ой, ата... – с укором тотчас отозвался рыжий Тима. Конечно, золото тяжелее.

– Правильно? – спросил Мамбет Казиевич у бритоголового соседа.

– Правильно! Тима – отличник. Он все знает.

– Ну как же?! – встряла Куляш. – Ведь килограмм же!

Дети не поняли, засопели усерднее.

– Раз килограмм, то какая разница: золото или хлопок?

– Ладно, грамотей, – улыбнулся Мамбет Казиевич. – Скажите родителям, бабушкам и дедушкам, пусть вечером зайдут ко мне. На провода. Не забудьте!

– Ла-а-ад-но-о! – откликнулись хором вся начальная аульная школа. – Жарайды.

– И ты, айналайн Куляш, приходи.

Когда Мамбет Казиевич вышел из школы, его поджидали у входа два неразлучных пса. Никто не знал, когда, откуда и как прибудились они в аул. Просто объявились однажды, да так и прижились. Всюду ходили вместе, точно близнецы. Всех аулчан знали поголовно. И ни в каком дворе не чувствовали себя чужаками. Вечерами исправно пригоняли с выпаса овец, коров. Ночью бдительно сторожили аул. Даже ворон и сорок отпугивали лаем. Детей сопровождали в школу. И к старикам, справлявшим нужду в кустах, никого не подпускали. Радушно встречали редких гостей. Никто не знал их кличек. Собаки охотно отзывались на банальное «кя-кя!» И довольствовались тем, что им подбрасывали сердобольные аулчане.

– Ну, братцы кя-кя, пошли, – сказал им Мамбет Казиевич.

И оба пса послушно потрусили за ним, усердно помахивая хвостами.



Через несколько дворов от школы жил единственный урус в ауле Егор Тиморшин. Он давно okazaхвался, отменно сквернословил по-казахски, изысканно прохаживаясь по отцовской и материнской линиям едва ли не всех аулчан вплоть до седьмого колена. И никто не возмущался, не перерчил, не оскорблялся – все знали: урус Жагор выражался так от избытка доброты и любви.

За долгие годы проживания в ауле он стал его достопримечательностью. Когда-то, в далекие тридцатые годы, его отец был первым трактористом в «Нижней туранге». Первую борозду в колхозном поле за озером проложил он. Его тоже звали Егором. Никто не знал, откуда он родом – то ли из Омска, то ли из Тюмени. В аул он однажды приехал из МТС прямо на тракторе, всколыхнув тишь во всей округе. Работал от зари до зари. Оброс рыжей кудлатой бородой. И был мастер на все руки: пахал, боронил, косил, скирдовал, столярил, паял, лудил. Срубил дом, баню, разные клетушки-сарайчики. Первым завел огород, пасеку. Обрыблил озеро. Сразу же стал тамыром всех аулчан. «Апырай, – удивлялись стар и млад. – Как мы только без этого уруса обходились?!»

И сына воспитал под стать себе. Такой же ражий и рыжий. Крепыш и умелец. И стало в ауле два Жагора – большой и малый. Хотя малый и вымахал больше большого. Большой все понимал по-казахски, а гундосил в бороду и с большим акцентом. Казахские звуки так и не дались ему. Малый же Жагор изъяснялся по-казахски свободно и ловчее самих казахов, обильно снабжая свою речь – к месту и не к месту – витиеватыми ругательствами. Теперь и малый Жагор стал пенсионером. Тоже оброс дремучей рыжей шерстью. Дочка Клава пропадала день-деньской на скотобазе и неизвестно, от кого понесла, в подоле принесла мальчонку, после чего незамедлительно покинула аул. И вырос у малого Жагора помощник и наследник Тимоша-Тима, в котором дед и бабка, понятно, души не чаяли. Жил малый Жагор в ауле наиболее зажиточно. И скот держал, и птицу, и рыбу ловил, и на охоту ходил, и пасеку имел, хозяйство вел образцово, возил на мотоцикле с коляской излишек продуктов на районный базар. «Наш бай», – говорили о нем аулчане, но без злобы и зависти, ибо хорошо знали: ничего Жагору с неба не падало, все зарабатывал своим горбом, с юных лет крутился от зари до зари. Очень надеялся малый Жагор, что непутевая Клава образумится



и вернется в отчий дом со своим новым хахалем. Вот тогда уж он развернется на славу. Запросто новый дом-пятистенок возведет. Но дочка не возвращалась, и неизвестно было, что из себя представлял новый ее хахаль, и малый Жагор все чаще озабоченно задумывался.

– Ой, әкеннің ауызын... четыре с половиной господ бога мать! Зачем мне все это? Ради чего горблюсь?!

Потом утешал себя.

– Ладно... Мать твою шешехану! Тимке все достанется...

Жагор сидел в замызганном, заляпанном всеми красками некогда синем халате, в шерстяной шапочке на плешивой голове в уголке двора и намешивая лопаточкой в деревянном корыте корм для гусей и уток. У ног его копошились куры, пружинисто вышагивал петух, с навеса зорко следил за каждым движением хозяина раскормленный кот.

– Ассалаумагалейкум! – первым поздоровался Жагор, завидев старого мугаллима.

– Алейкум салеми!... Как живете, брат?

– Ой, әкеннің... бил-лят... мать, – завелся по обыкновению Жагор. – Без электричества, как без рук. Разве это дело? Телевизор, холодильник, сепаратор – все стоит. Копышишься с утра до вечера, а толку нет. Да и хозяйка, келин ваша, состарилась. Постель не греет.

– Так заведи токал. Согреешься.

– Легко сказать! – гуднул в бороду Жагор. – Әкеннің аузын... Работящую токал где найдешь, а для игры-забавы зачем? Игрун-то не тот...

– Брось! Не говори никому. Ты во-он какой джигит! Грудь колесом и ручища – что грабли. Любую бабу затискаешь. Бороду сбреешь, и хоть куда.

– Е-е, что еще, кроме бороды, осталось? – хохотнул Жагор. – Проходи, мугаллим. Гостем будешь.

– Нет, нет. Спасибо. Гостевать некогда.

– Ия, что стряслось?

– Уезжаю. Зашел пригласить на проводы. Вечером. Приди.

– И ты, мугаллим, значит, уезжаешь? – печально замотал головой Жагор. – Выходит, скоро я один останусь в ауле. Ну, ну! Аул казахский, а житель – урус. Песни горланить об ауле, о родимой сторонке все мастаки, а работать на земле кто будет? Немысы уехали, теперь шуршута ждете? Урус в конце-концов тоже к урусам подается. А вы, казахи, все



вдруг к городу жметесь. Ну и дождетесь шуршутов. Они мигом вашими просторами завладеют.

– Ты прав, Жагор. Действительно, нескладно получается. Но обстоятельства диктуют волю.

– Обстоятельства, обстоятельства, – пробубнил сердито Жагор. – Обстоятельства от человека зависят. Батыр к родному краю тянется, собака – к сытому месту.

– Не ворчи, Жагор. И так муторно. Думаешь, мне легко? всю жизнь здесь прожил...

– Да-а... Что я скажу? Слышал, сын твой – шишкарь. Высоко сидит. Большими делами ворочает. С властями якшается. Шепни ему: пусть об ауле разок подумает. Хотя бы свет из центральной усадьбы протянет. Рукой ведь подать. Позор!

– Сказать-то скажу. Только... только... – недоговорил старый мугаллим.

Жагор встал, отряхнулся, пошел провожать запечалившегося гостя.

Неразлучные псы терпеливо ждали, выпростав языки, возле калитки. Увидев стариков, разок-другой дернули хвостами и попеременно наклонили головы то влево, то вправо. Грустные песьи глаза вопрошали: «Ничем не угостите?» Мамбет Казиевич смущенно похлопал по карманам, и собаки на мгновение напряглись, облизнулись, но тут же все поняв, выставились на Жагора. Тот достал из кармана синего халата огрызок лепешки, разломал его и подкинул псам. Они проявили деликатность, не сразу набросились на черствую лепешку, и благодарно посмотрели сначала на Жагора, потом на Мамбета, чуть помедлили, принялись, оглянулись и лишь тогда подцепили добычу, заклацали клыками.

– Кя-кя, пошли! – сказал мугаллим.

Псы послушно потрусил за ним.

Солнце стояло в зените. С озера дул сырой ветерок. Мамбет Казиевич спешил домой. Надо было нарезать ярку, освежить ее, разделать тушку, попросить женге развести огонь под треногой в шошале, заложить мяса в котел, опалить баранью голову, сготовить бесбармак к приходу аулчан. Угостив аулчан и получив по обычаю их бата-благословение, можно будет с чувством исполненного долга уехать завтра спозаранок...

Вечно запаренный председатель аулсовета из «Верхней туранги» на своей разболтанной «Ниве» примчался ни свет, ни заря.

– Аксакал, давай, давай! – заторопил, не выходя из машины. – Еще сегодня должны вас живым и невредимым доставить в область, а вечерним рейсом – в Алматы. Времени в обрез.

– Не хватай за глотку, бастык! Не горит, небось!

– Это у вас, аксакал, не горит. А у меня запарка.

– Что так?

– Такова доля маленьких бастыков. Их шпыняют все, кому не лень.

Расторопный аулнай закинул в багажник чемоданчик и саквояж (сын строго предупреждал: «Ничего с собой не бери. На новом месте купим все, что нужно»), плюхнулся на продавленное сидение, почему-то нажал на клаксон.

– Ладно, ладно. Не буди аул. Поехали...

Мамбет Казиевич едва успел обнять ударившуюся в слезы женге.

– Аллах даст, еще свидимся.

Свернули на дорогу, обогнули озеро. Сбоку мелькнула одинокая туранга. Ветер трепал разноцветные тряпицы и ленты, привязанные к веткам.

– Стой! – хрипло приказал старый мугаллим.

Аулнай притормозил. Старик медленно выбрался из машины, горбясь по-стариковски, дошел до туранги, вынул из кармана носовой платок, оторвал с края полоску, привязал к кривому сучку. Потом постоял, опустив голову, провел ладонями по лицу и, вздохнув, вернулся к машине.

– Все, – сказал он дрогнувшим голосом. – Все... все...

Аулнай промолчал.

По запавшим щекам старика покатались слезы, исчезая в белой трясущейся бородке.

Глава пятая

Всю дорогу старик молчал. Аулнай «Верхней туранги» привез его к себе, молодка-келин сноровисто накрыла дастархан, но Мамбет Казиевич лишь приличия ради отпил глоток чаю, поблагодарил хозяйку и пересел на машину районного акима, который наказал своему водителю доставить отца уважаемого Баха́ до области.



– Устраивайтесь, старина, поудобней, – сказал русский шофер. – Ехать нам более двух часов.

Ни о чем говорить не хотелось. «Тойота» плавно мчалась по асфальтной дороге, мимо проплывали знакомые перелески, опустевшие поля, безлюдные бригадные станы, пастбища, поселки, аулы, там-сям попадались на глаза потемневшие копешки, вдоль дороги, спесиво выпятив грудь, упруго вышагивали вороны, и все было по-осеннему скудно, уныло, убого, будто жизнь замерла во всем краю.

– Что-то скота никакого не видно, – проронил вслух старик.

– Какой скот? – тотчас окликнулся шофер. – Пасты-то негде.

– Как это? Вон сколько божьей земли вокруг.

– Да... но она продана. Скот пасты не смей. И поля, видите, пустуют. Не пашут, не сеют. Хозяин не велит.

– А хозяин кто?

– Бог знает... Где-то сидит. То ли министр, то ли депутат. А народу – шиш. Живи, как хочешь. Говорят: рыночная экономика.

– Значит, кто смел, тот и съел?

– Кто нагл, тот и хапнул.

– Апырай, а! Ну, купил землю, а дальше что?

– А ничего! Собственник! Как собака на сене. И сам не гам, и другим не дам.

– И смысл?

– Смысл один: хапать, драть, продать, деньги качать.

– А совесть-иман где?

– Ха-ха! Зачем совесть? Совесть – доллар!

Мамбет Казиевич пригорюнился. Он и сам замечал, что совесть, честь, благородство, достоинство, о чем он внушал детям столько десятилетий, нынче не в чести. Нынче герой, славный батыр тот, кто изловчился, хапнул кусок побольше, разжился чужой долей, заарканил удачу и затаился в кустах, высматривая, поджидая очередную добычу. То, что еще недавно считалось подлостью и коварством, теперь обернулось достоинством и удалью.

Мамбет Казиевич не раз видел по телевидению, когда в ауле было еще электричество: лежит себе чудовищный крокодил в тине, в траве, между коряг, шершавый, зубастый, растопырив кривые лапы, глазками зыркает вокруг, крутыми боками чуть-чуть водит, и когда чуткая серна или глупая овца подходит к водопою, он, взбаламутив воду,



рывком набрасывается из-за засады, раззявит мерзкую пасть и – хватать! цап-царап! – уволакивает свою добычу в омут. Развелось нынче подобных крокодилов и в степях Казахстана!

Говорит не хотелось. Что в мире творится – уразуметь сложно, а в родном краю, похоже, происходит что-то нечеловеческое. В последние годы на каждом углу только и слышно гу-гу, шу-шу: такой-то бывшую колхозную землю обрел в свою собственность, такой-то ловко оттяпал себе детсад, баню, магазин; жуликоватый фельдшер «Верхней тураны» исхитрился присвоить себе акушерский пункт и теперь акульные роженницы разрешаются от бремени только за приличную сумму; кто-то из районного начальства ликвидировал библиотеку, выкинул на свалку все книги, а хлипкое здание переоборудовал в продуктовый магазин; в соседнем ауле кто-то отхватил половину школы под контору. За каких-нибудь пять лет все оказалось разграблено на корню. Но, поговаривали, все это мелочи, семечки, местный жалкий масштаб. С нищего населения, понятно, навар небольшой. А там, наверху, в высоких руководящих сферах, по слухам, начальство и вовсе распоясалось, сполна проявляя свои неумеренные аппетиты. С придыханием и изумлением рассказывали, как за бесценок проданы чужакам-пришельцам и доморощенным юркачам целые предприятия, заводы, учреждения, музеи, участки, уголья, заповедники, общественные здания, заправочные станции, шахты, нефтескважины, банки... бог ты мой, ненасытные утробы заглатывали, как взбесившийся крокодил, все подряд, как говорится, верблюда с шерстью, коня с поклажей. Вся страна за короткое время превратилась в сплошной дикий базар. Точно безумие охватило всех. И в помыслах, и на устах одни деньги, деньги, деньги. Акша, акша, акша. Доллар, доллар, доллар. «И чем это кончится?» – задумывался иногда Мамбет Казиевич. Ну, все продадут, все-все, что на земле и под землей, нажрут в три горла, набьют брюхо, сядут на кучу добра, нахапают, чтобы на семь поколений хватило. А потом что? Одни начнут беситься с жиру, другим – лишь бы быть живу. Потом остается только пожирать друг друга. Ведь за кордон не шмыгнут, в замках-дворцах не упрячутся. Нищebroдам придется довольствоваться убогой и унижительной жизнью, существованием, прозябанием на разграбленной, отравленной, измытаренной, истерзанной земле отцов – атамекене. Неужели благоде-



тели народа, дорвавшиеся до власти, настолько ослепли и оглохли, что не в силах сообразить, что творят безумие?

Говорят: рынок, капитализм. Шпыняют на все лады социализм и недавнюю советскую власть. Открещиваются от прошлого. Будто там жили одни недоумки, недотепы, придурки, словно там было все отвратительно и мерзко. Этого понять Мамбет Казиевич был не в силах. Он чувствовал, как весь напрягается, ошетиливается, когда какой-нибудь самодовольный хмырь или записной трепач разглагольствовал публично об уродливой жизни в прошлом. Что они, эти пройдохи и рвачи, прощелыги и прохиндеи, приспособившиеся к новым веяниям сомнительного времени, понимают о прошлом своих отцов и дедов? А особенно нестерпимо, гадко, когда какой-нибудь пошляк-юнец, одолевший две-три книжки, с видом знатока охаивает далеких предков за их – по его представлению – нерадивость и ограниченность. Ай, чья бы корова мычала...

Хорошо думается в пути. И мысли текут ровно. И перед глазами все стоял родной аул, который он покинул – кто знает, может, навсегда. Жизнь-то осталась с куцый вершок.

Крохотный, в два десятка дворов, аул затерялся в перелесках возле степного озера, окаймленного зарослями осоки, камыша и ивняка. На краю озера росла бог весть с каких времен одинокая, раскидистая туранга. Она-то и дала озерку имя – Туранколь. Так до поры до времени назывался и сам аул. Его переименовали много раз в зависимости от новых веяний беспокойного времени. А времена и порядки менялись часто, сменяли друг друга и вожди большой страны. Но неизменными оставались березовые колки вокруг, пшеничные поля за ними, само озеро, питаемое двумя-тремя ключами и талой водой, да и неказистый аул с полусаманными, полудеревянными домишками и незатейливыми подворьями.

Отсюда хилым подростком Мамбет отправился на войну, сюда вернулся четыре года спустя заметно окрепший, но и изрядно помятый, с подбитой рукой, с несколькими орденами и медалями на тощей груди. Отец, Кази, еще бригадирствовал в колхозе, тянул привычную лямку, весь в нескончаемых заботах и хлопотах и, хотя перевалило ему едва за пятьдесят, вид у него был глубокого, изможденного старца. Видно, годы лихолетья и в глубоком тылу никого не щадили.

Однако бригадир Кази успел закатить на весь аул той по поводу благополучного возвращения сына, женить его, построить домишко-отау рядом с совсем уж захудалой отчий халупой, завещать пяток овец и коровку и благословить молодых перед уходом в невозвратный путь.

Поначалу демобилизованного лейтенанта Мамбета Адилова определили инструктором райкома партии. Мамбет молодой Мамбет по аулам, разъяснял партийные установки, бодрил уставший, окаменевший от затянувшихся невзгод народ, направлял его оставшиеся силы на восстановление порушенного вконец хозяйства. Однако вскоре понял: не его это дело. Аулы дошли до ручки, брать с них уже ничего нельзя, лозунги не срабатывали, никого не зажигали, и страх на людей уже не действовал. Да и здоровье пошаливало: все чаще кружилась голова и сердце по утрам скало. Попросился Мамбет в аульную школу, заочно окончил двухгодичный областной учительский институт.

В крохотном ауле и школа была крохотная: даже в лучшие годы в двух комнатках одновременно учились от пятнадцати до семнадцати аульных шалопасов. Мамбет преподавал в двух классах с утра, жена, Зура, в двух классах после обеда. И этот однажды заведенный порядок продолжался десятилетиями. Где-то далеко, в необъятной стране, происходили крутые перемены, новости сотрясали государство, даже в районном центре то и дело разгорались какие-то кампании, но в ауле с одинокой турангой на краю озера ничего примечательного не происходило. Разве что у кого-то из аулчан волк задирает телка, какая-нибудь молодка разрешалась от бремени, сосед по нерадивости спалил пошалу, у другого прохудилась крыша, на чьей-то шильдехане повздорили двое славных азаматов, а по валунам в овраге ударила молния. Вот и все новости.

Мелькали дни, месяцы, годы; солнце восходило с востока и, завершив свой круг, в положенный час уходило на покой за березовым леском; люди копошились по дому и на поле; растили детей; обихаживали скотину; старели и безропотно уходили в мир иной. Учителем Мамбет был увлеченным. Учил детвору не только начальной грамоте, но и житейской сноровке и мудрости, затевал разные игры, водил по окрестностям, устраивал читки и беседы, рассказывал, что происходит в мире, о войне, о странах, где побывал в войну, опекал воспитанников по-отцовски, следил за их успехами в соседней семилетке и районной средней школе.



будил в них мечту и стремление к знаниям. Был Мамбет человеком любознательным, выписывал газеты и журналы, ловил все новости, писал в районную и областную газеты стихи, заметки, статьи. Аулчане уважали его и гордились им. Со временем он стал аксакалом аула, с ним советовались и стар, и млад. И бывшие ученики не забывали своего наставника. Переписывались с ним, приезжали при случае отдавать салем. Представить аул «Нижняя туранга» у озера с одной турангой без почтенного Мамбета Казиевича было невозможно. Годовалые ребятишки при виде его тянули ручки, щерили рты и лепетали «Ата», «Ата». И он здоровался с ними, весь рассияв лицом, за ручку, называл всех по имени, вспоминал их родителей, дедов и бабушек, говорил подобающие слова-благословения.

— О, айналайн. Вырасти джигитом большим-большим, как Алатау.

— О, милый цветочек, да освещают твой путь солнце да луна.

— Уай, мой сарбаз! Стань сильным, как тигр. Как лев-арыстан!

— Да будет усеяна твоя тропинка цветами.

— Да будет высоким и чистым над тобой небо.

— Прославь свой род на всю страну.

Дети, не понимая слов, улыбались доброму дедушке, а их бабушки млели от счастья и гордости.

Мал был аул, да сколько славных людей из него разлетелись во все стороны божьей земли. Считай, потомков аулчан найдешь ныне и в Москве, и в Алматы, и в Астане, а некоторые даже очутились в других странах-государствах. О, тауба, тауба! Благодарение Всевышнему! Благодать его безмерная щедро разлилась и на их крохотный, затерявшийся в лесостепи аул. Малая толика заслуг, надо полагать, принадлежит и ему, скромному учителю-мугаллиму Мамбету, сыну Казы.

И думать об этом было приятно. И от сознания своей причастности к успехам и радостям незаметного аульного бытия становилось тепло и светло на душе.

Одно омрачало жизнь Мамбета-мугаллима. Долгие годы у них с Зурой не было детей, и это учительскую чету постоянно удручало. Стыдно было и перед аулчанами из-за того, что кукуют одни в опрятном и чистом доме. И ночами Мамбет, бывало, предавался горестным раздумьям: «Это надо же! Все есть, а ничего нет. Верно говаривали предки:



«Дом с детьми – базар. Дом без детей – мазар». Неужели судьба не сжалится над нами? Неужто так и суждено нам жить в одиночку? За что такое наказание?..»

Зура и вовсе лишилась покоя. Певунья, щебетунья, она стала избегать разные аульные тои-вечеринки, старалась, кроме школы, нигде не ходить, молча копошилась по дому, замкнулась. Опечаленные супруги все чаще заговаривали о ребенке из детдома, но знакомые отговаривали: «Проявите терпение. Бог смилостивится. И ваш очаг еще оласит детский гомон». Не было и таких родственников, которые по казахскому обычаю могли бы удрученных супругов облагодетельствовать ребенком. «Апырай, какая несправедливость! – все чаще роптал Мамбет-мугаллим. – У других дети рождаются косяками, а тут и одного судьба не даст».

Однажды, на летние каникулы, преодолевая гордость, сомнения, стыд и возможные людские пересуды, супруги съездили к областному специалисту, обследовались, сдали всевозможные анализы, и врач, пизкорослый, шуплый, носатый мужичонка в толстых очках, с козлиной бородкой и густым, уверенным басом утешил их: «Не отчаивайтесь. Все нормально. Избавьтесь только от всех комплексов».

Что подразумевал носатый карлик в белом халатике под этим словом, супруги так и не поняли, но вышли от него ободренные, с надеждой.

Носатый специалист оказался прав. Вскоре Зура понесла. Но девочка родилась хилой, вялой и умерла через месяц. И вторые роды оказались неудачными. Трое суток мучилась Зура в районной больнице и разродилась, наконец, недоношенным ребенком. Роженицу тогда еле спасли. А еще два года спустя Всевышний сжалился над безутешными супругами: родился сын, крепенький, здоровенький, черноглазый, круглоголовый, своевольный, и с приходом его на белый свет тихий дом аульных мугаллимов наполнился смыслом и счастьем. Весь аул обрадовался этому событию. Весть о том, что в семье Мамбета-мугаллима появился долгожданный ребенок, облетела все верховья и низовья. Целый год со всех окрестностей стекались в счастливый дом гости, чтобы порадоваться счастьем облагодетельствованных Всевышним терпеливых супругов. Называли сына просто – Бахыт, что означало счастье.

Родители очутились на седьмом небе. Мамбет-мугаллим нередко забирал мальчика-бутуза с собой в школу, усаживал его за парту, не спускал с него влюбленных глаз.



У мальчика рано проявились способности. Непоседливый, он, однако, прилежно сидел за партой, крутил кудрявой головенкой туда-сюда, поблескивал любознательными глазенками, хватал все на лету, вместе с одноклассниками зазубрил таблицу умножения, вместе с четырехклассниками заучивал стихи, в три года научился бегло читать и стал любимчиком всей аульной начальной школы. Особенно впечатляли его способности в арифметике. Играючи умножал в уме двухзначные числа.

Мальчика оберегали от сглаза, от случайных напастей, от озорных игр. Его и подкармливали на особый лад, не так, как аульных сверстников, поили сливками, пичкали витаминами, доставали откуда-то овощи и фрукты. И одевали его по-городскому. И Бахыт рос сытеньким, гладеньким, ухоженным, чистеньким. И в ауле смирились с тем, что он особый, не чета другим, позднее, долгожданное, желанное, единственное счастье мугаллима Мамбета. «Айналайн наш Бахытжан», – говорили с гордостью мужчины. А женщины в ауле называли его не иначе, как «нежный, ласковый учительский ягненочек». Он и был похож на ягненка – большоголовый, крутолобый, круглый, с большими влажными черными глазами, курчавый. Каждому хотелось непременно обласкать милого мальчика. Даже аульные сорвиголовы не испытывали к нему ни зависти, ни зла. Все признавали его особые задатки, говорили: «Из учительского сынка выйдет толк».

Учился Бахыт играючи. Все давалось ему легко. Слыл во всем примером. А после окончания начальной аульной школы его определили в районную русскую десятилетку. Ради сына учительская чета даже вознамерилась одно время переехать в район, но начальство отговорило Мамбета от этой затеи. Условия в интернате при школе оказались вполне приличными, и родители решили, что самостоятельность их чаду не повредит. К тому же каждое воскресенье они навещали своего ненаглядного, подкармливали и одевали в самые модные, дорогие наряды.

Мамбет убедился: и в районной русской школе сын ходил в передовых. Учителя его хвалили, сверстники почитали, девчонки любили. Щебетали: «Бахытик, Бахытик!» Писали на партах, на скамейках: «Бахытик – лапочка». Мальчик выделялся своей тягой к новизне: много читал, рисовал, играл в шахматы, брэнчал на гитаре, участвовал в разных олимпиадах, конкурсах, болботал по-английски,



увлекался фотографией, посещал танцы, одевался опрятно, освоил изысканные манеры. Им восхищались, говорили: «Далеко пойдет».

– Ия, ия, – кивали старики. – Сидеть ему в райкоме.

– Оу, – возражали им. – Какой райком? Ему обком или ЦК подавай.

– Бесспорно: звезда его взойдет.

Мамбет гордился сыном. А когда прочел о нем заметку в районной газете, то от счастья, как говорят казахи, едва не достиг макушки неба. Вырезал заметку из газеты и всюду бережно носил ее с собой в бумажнике.

Когда Бахыту после окончания школы вручили золотую медаль, обалдевшие от счастья родители провели той на всю округу. Даже районное начальство приезжало разделить радость аульного мугаллима.

Одно тревожило отца: сын совсем отлучился от родной речи, перестал говорить по-казахски, казахские книги и в руки не брал. «Апырай, – досадовал Мамбет. – Бұл калай болды? Как это получилось?! Стыд-то какой! Отец и мать

казахи, а сын совсем обрусел. Букву «алиф» от палки не отличает. Что люди-то подумают?» Зура заступалась за сына, утешала мужа: «Ничего! Он вскормлен родным языком. И первое слово произнес по-казахски. Надо будет – заговорит не хуже нас».

Бахыт по республиканской разнарядке попал в Московский университет и учился на экономиста. Он был видным юношей: невысокого роста, но ладно скроенный, высоколобый, с блестящими, живыми, чуть навывкате глазами верблюжонка. «Родился на счастье какой-нибудь длинно-косой», – говорили аульные молодки.

Но обзаводиться «длиннокосой» Бахыт не спешил. Отмахивался от каких-либо разговоров на эту тему. Окончив университет, год поработал в республиканской Академии наук. Потом опять на три года укатил в Москву, окончил аспирантуру, защитил диссертацию, вращался в кругу знатных московских экономистов, но вскоре с головой окунулся в водоворот событий по строительству независимого государства, всюду был нарасхват и незаметно сблизился с большими людьми во власти.

Родители, по-прежнему проживали в захолустье, лишь по газетам следили за карьерными успехами сына. Он постоянно куда-то перемещался: то в каких-то научных и управленческих структурах, то в фирмах с длинными



витиеватыми названиями, то в совместных корпорациях с иностранцами, то в министерствах по финансовой части, то в загадочных холдингах. Мамбет догадывался: сын попал в струю, везде востребован, заправляет большими делами. Это, конечно, радовало стареющих родителей, но огорчало то, что сын совсем отбился от родного дома, от отчего края, за все долгие, лихорадочные годы только и навещил аул раза три. И то все как бы мимоходом, проездом, в спешке, не отрываясь от мобильного телефона, с которым не расставался даже ночью. И переговоры вел какие-то нескончаемые, непонятные, с набором диковинных слов и фраз из разных языков. Мамбету так хотелось обстоятельно поговорить с сыном обо всем, что происходило на белом свете, выяснить, что за реформы затеваются в высоких кругах власти, куда направилось большое кочевье времени, что думают благодетели-правители о простом людe, об аулах, о житье-бытье казахов и в чем заключается суть независимости. Да мало ли вопросов возникает в голове пенсионера-мугаллима. Небось и его башка не мякиной набита. Смутные представления и ощущения волнуют, будоражат и его душу. Но сын избегал досужих бесед. То ли ему было некогда, то ли неинтересно мурожить очевидные для него истины, то ли посчитал, что аульному старику подобные речи не по зубам, то ли у самого в душе творится разлад и раздрай.

Одно было ясно аульному мугаллиму: страна попала в водоворот, вихрь событий закружил-завертел новоявленных вершителей судеб, все складывалось со скрипом, до многого руки не доходили, и Бахыту тоже все некогда, некогда, некогда, и все вокруг него куда-то спешат, спешат, не имея возможности перевести дыхание и оглянуться.

Однажды сын во время парламентских каникул неожиданно нагрянул в Нижнюю турангу, и не один, а с светлицей, большеглазой, тонкогубой, стройной молодой с непривычными для аулчан вольными манерами.

— Ну, вот, коке, ваша келин. Зовут Зухра. Прошу любить и жаловать.

Незнакомка вскинула бровки, чуть растянула тонкие губки, проворковала по-русски: «Очень приятно!» и протянула опешившему свекру мягкую, с твердыми коготками ручку.

Потом городская келин, поцокивая высокими каблучками, подошла к Зуре, застывшей в растерянности, и тоже подала ладошку, представилась:



– Зухра Ганиевна.

Родители Бахыта от изумления онемели, а молодые, переглянувшись, отчего-то расхохотались.

«Красивая, милая, – подумала про себя Зура. – Но, видно, шалунья, баловница. Такую в узде не удержишь».

«Апырай, какая она хрупкая! – отметил невольно Мамбет. – Пушинка! Такая и ведро воды не поднимет. Ее только на колени усадить да пыль сдувать».

Весть о приезде Бахыта с юной женой мигом облетела аул. К учительскому дому начал стекаться народ. Всем хотелось поглазеть на городскую невестку-келин. Мамбет, едва опомнясь, бросился в овчарню резать ярку. Зура хлопотала у казана. Ей на помощь поспешили соседки. А молодые между тем переоделись с дороги, раздали городские подарки и отправились в ближний лесок, потом на озеро и вернулись лишь к свадебному дастархану.

Бахыт держался спокойно, всем улыбался, произносил подобающие слова, почтительно обнимался со стариками и старухами, подставлял им для обнюхивания лысеющий лоб, а невестка в прозрачном, открытом платьице, подчеркивавшем все ее прелести, простоволосая, накрашенная, падушенная, озиралась по сторонам, хлопала с наигранной наивностью длинными ресницами, кривила капризные губки, восхищалась по всякому поводу: «Ах, мило!», «Дивно!», «Чудно!», «Восхитительно!», «О, святая простота!»

Все догадались: смазливая, как куколка, невестка – вольная птаха, которой аульные нравы и порядки не только чужды, но и странны, дики. Видно, понятия не имела о каком-то приличии и этикете. И держалась так, будто не к родителям мужа приехала, а в гости к сердечному другу или на побывку к родному отцу. Ей все было в диковинку, и скованность, смущение аулчан – тоже. И никто не знал, о чем и как с ней разговаривать. К ней обращались по-казахски, а она в ответ щебетала по-русски и чаще всего невпопад. Старики и старухи все ждали, когда невестка сядет к самовару и начнет собственноручно, с соблюдением вековых степных правил угощать всех чаем, изящным и скромным жестом почтительной молодки попеременно подавая всем чашки с едва заметным поклоном головы, но невестка, не зная, куда девать ноги, прикрыв обнаженные колени полотенцем, восседала рядом с мужем на почетном месте, на атласном одеяле поверх домотканого паласа и время от времени роняла непонятные слова:



- Прелесть!
- Дивно!
- Посмотри. Баха! Поразительно!

Бахыт только улыбался, и вид его был утомленный. Волосы его заметно поредели, но по-прежнему курчавились. На губах, на подбородке обозначился пушок. Лицо было юное, ухоженное, лосьоном протертое, а большие и влажные, как у верблюдонка, глаза отливали потаенной грустью и заботой. Аулчане почтительно ловили каждое его слово, но Бахыт все больше помалкивал, казалось, стеснялся чего-то, и казахские слова в его устах звучали непривычно, коряво. Беседа за дастарханом никак не налаживалась, и аулчане, заполняя тягостные паузы, начали перекатывать пустые словеса:

- Что-то давно дождя не было.
- Да, травы начали желтеть.
- Видно, ранняя осень обрушится.
- И пшеница созрела, а убирать нечем.
- Как всегда, к осени горючего нет.
- Хоть серпом коси.
- Беда!.. Все как-то неожиданно разладилось...

Бахыт слушал, понутив большую голову. А невестка, пожевав примчик, достала из крохотной сумочки сигарету, ловко шелкнула зажигалкой, затянулась и выпустила из накрашенного рта сизые кольца дыма.

За дастарханом все враз онемели. А у сапожника Мука-на вырвалось:

- Астафыралла!

Молодые прогостевали всего три дня. Незатейливая аульская жизнь, видно, наскучила им. Уже наутро следующего дня Зухра надула губки, все ей было не по душе – и отсутствие привычных удобств, и скудный завтрак, и недоуменные взгляды вокруг. Только фыркала: «Экзотика, экзотика!», подчеркивая всем видом, что такая экзотика ей поперек горла. Гости пропадали в лесочке, собирали костянику и смородину, купались в озере на потеху аульной пацанвы, бродили по окрестностям и неожиданно укатили, вызвав машину из областного акимата и оставив аул в недоумении.

– Апырай! – цокали язычками аульные бабы-хатуны.
– Ай да краля! Сколько с ней будет мороки нашему Бахытжану.

- Да и он хорош... Распустил красотку.



– Интересно, кто ее родители?

– Ойбай, большие люди, сказывают! И отец вроде как академик, да и мать не кизячным дымом пропахла.

Семейную жизнь единственного сына учительская чета совсем по-иному представляла.

Зура долго молчала, вздыхала, переживала, а однажды поделилась с мужем тайной.

– Знаешь, она уже была замужем. И имеет дочь от первого брака.

– Не дейды?! Откуда взяла?

– Земля полнится слухом...

На другой день Мамбет сказал за чаем:

– Ну, что ж! Так, значит, суждено. Надо полагать, и Бахыт до тридцати лет не монахом прожил. Не нам судить. Лишь бы жили в дружбе и согласии.

Зура ничего не ответила, но червь сомнения и подозрения подтачивал ее нежную душу.

Бахыт больше не приезжал. Лишь изредка приходили от него по почте аляповатые, глянцевого открытки из Парижа, Брюсселя, Берлина, Каира, каких-то зарубежных курортов.

– Ну, да... Зачем ему наша глушь?! – сетовал Мамбет, рассматривая красочные открытки.

– Благодарение Всевышнему, что живой-здоровый, – отозвалась Зура.

Одно время грезилось: заберет их, стареющих родителей, сын к себе в благоустроенную городскую квартиру, Зура будет нянчить внуков, учить их казахской речи, Мамбет – наслаждаться покоем и уютом, ублажать свою застарелую «купиртонию», ходить по театрам и библиотекам, о чем мечтал с юношеских лет, вечерами подолгу сидеть на кухне, потягивать кок-чай, искусно заваренный учтивой и услужливой снохой, слушать новости по телевизору, шуршать газетами, при случае кропать стишки, сочинять заметки-отзывы, а иногда вести вольные беседы со всезнающим сыном и его друзьями. Ну, и как водится, ходить по гостям. Какой казах этого не любит, тем более у добрых людей и знакомых всегда уйма.

Годы мелькали, а сын все реже давал о себе знать. Он мотался по разным странам-государствам, выступал на важных конференциях, давал интервью, проводил круглые столы, на которых вроде как решались какие-то государственные дела. Однажды пришло письмо с фотографией. В



кресле развалилась вся увешанная серьгами, браслетами, кольцами, бусами расфуфыренная сноха с лобастым мальчонком на коленях, а сзади пристроился улыбающийся Бахыт в черном костюме, белой сорочке и ярко красным галстуком. Лоб его еще более обнажился, а телом был по-прежнему худощав, легок. На висках появилась седина. Тильная сторона фотографии была подписана четким, твердым почерком сына: «Арыстан Адилов, два года. Лондон». Мамбет долго разглядывал фотографию.

– Байбише! Какой, однако, у нас внук!

– Выходит, в Англии родился, а мы и не знали.

– Надо бы съездить, поздравить.

– Куда? В Англию?... Бахыт дома не застанешь. А снохе мы и не больно нужны.

Мамбет Казиевич и обрадовался, и огорчился. Продолжение рода – разве может быть большей радости? Но... почему о том сообщили два года спустя? И почему не посоветовались при выборе имени, хотя против Арыстана-Льва кто возразит? Арыстан Адилов – звучно и мощно.

Зура с юных лет не отличалась крепким здоровьем. Часто недомогала. Странная слабость подтачивала ее. Она молчала, терпела, перемогалась, чтобы не омрачить Мамбета. А когда по просьбе Бахыта ее обследовали в областной больнице, обнаружилось, что уже невозможно что-либо предпринять. Так и угасла тихо, безропотно, не увидев, не обласкав внука. Значит, не суждено было. Упокоили ее на старом аульном кладбище. Бахыт в это время находился в южной Америке по торговым делам. На могилу матери он приехал лишь на годовщину. И то на полдня. Постоял у холмика, возложил цветы, распорядился в областном акимате, чтобы поставили достойный памятник – мраморный стояк с надлежащей надписью.

... Приехали! – объявил вдруг шофер. – А вон и Саруар нас дожидается.

Мамбет очнулся от дум-воспоминаний, только теперь заметив, что стоят возле городского аэровокзала.

– А кто такой Саруар?

– Помощник областного акима.

Мамбет Казиевич тяжело выбрался из машины, почувствовав, как ныло все его тело с непривычки.

– Добро пожаловать, аксакал!

Расторопный, вышколенный, молодой человек в кожаном длинном пальто и в блестящей черной кепке из нерпы радостно поприветствовал его, подхватил под локоть.



– До вылета осталось три часа. Мне велено вас встретить, повести в привокзальный ресторан и посадить на самолет. Багаж и билет ваш регистрируют.

– Е-е, ладно, ладно, – хрипло произнес старик. – Жаксы, жаксы, мой жигит. А кто велел?

– Аким.

В тот же день, поздно вечером самолет прибыл в Алматы. Бахыт не мог встретить отца: был на каком-то срочном совещании в Астане. Встретил Мамбета Казиевича помощник сына и на сверкающей длинной машине довез его до восьмиэтажного нового, как на картинке, дома за железной высокой оградой.

Начиналась новая жизнь.

Глава шестая

Квартира сына поначалу ошеломила. Мамбет Казиевич только диву давался, не представляя, что так могут люди жить. Боже, что это была за квартира! Да в ней, пожалуй, при необходимости мог вполне разместиться весь аул у озера с одинокой турангой. Целая неделя понадобилась аульному старику только на беглый осмотр ее. Не квартира – сказочные хоромы! Каждый член семьи имел свою отдельную просторную комнату, заставленную диковинной заграничной мебелью, диванчиками, креслами, компьютерами, телевизорами, магнитофонами, сейфами и бог весть еще чем, предназначение чего было Мамбету Казиевичу и неведомо. Ой, Алла... это и не квартира вовсе, а музей. По обе стороны длинного-длинного коридора тянулись встроенные шкафы с дубовыми дверцами и позолоченными ручками. В необъятной прихожей могла бы запросто расположиться колхозная бригада. В зале в самый раз свадьбы играть. Непонятно было, как потолок выдерживал многопудовую ослепительную люстру. А зачем двум человекам на ночь нужна такая непомерная спальня с коврами, зеркалами, тумбами, пуфами, шифоньерами, бра, торшерами, настенными полками, фривольными, аляповатыми картинами, двумя широченными, как колхозный хирманток, кроватями, старику было и невдомек. Неужели молодым одной кровати мало? Удивляли и две лоджии и четыре балкона, застекленные, оборудованные, с разными креслами-качалками, столиками, шезлонгами, кадками и цветочными горшками, массивными вазами. На кухне вполне



можно было разделять кобылу на согум, а рядом с ней находилась еще и столовая с длинным овальным, арабского изделия полированным столом и двадцатью стульями с высокими резными спинками и мягкими атласными подушечками. В первый же день Бахыт продемонстрировал отцу три гуалетные комнатки в разных углах квартиры, две ванны и душевую, две кладовки для хозяйственных нужд, и все эти помещения были украшены, заставлены, увешаны дорогой мишурой, безделушками, стекляшками, банками, тюбиками, которых старику доселе видеть не приходилось. Мамбет Казиевич, опасаясь поскользнуться на отполированном, навошенном до блеска паркетном полу, только восторженно восклицал: «Керемет!», «Ғажап!», «Тысяча и одна ночь», «Сказка!», «Свихнуться можно!».

– Бахытжан-ау, какая же общая площадь квартиры?
– полюбопытствовал Мамбет Казиевич.

– Не помню точно. Где-то триста-триста двадцать метров.

– Апырай, а! И откуда только все это?!

Бахыт театрально развел руками.

– Ну, как же! Трудимся ведь...

– Но другие ведь тоже не свиней подковыывают или ворон ловят.

– Каждому свое, коке, – чуть запнувшись, ответил Бахыт. – Все одинаково никогда жить не будут. Этот коммунистический идеал себя не оправдал. У рынка иные мерки.

Мамбет Казиевич давно догадывался, что сын его взбрался высоко, что он, судя по всему, и специалист отменный, и поставить себя сумел, и с властью на дружеской ноге, и приятелями обзавелся, ворочащими крутыми делами. И все же, все же... Откуда что берется? За такое короткое время?! На одну зарплату все это не обретишь. О наследстве опять-таки речи нет. Какое наследство от аульного учителя? Так откуда же дровишки? Уму непостижимо! Мамбету Казиевичу приходилось читать в газетах, что за годы независимости в Казахстане, да и в других новых странах-государствах, появились юркие, удачливые, хваткие молодые люди, способные с куринных яиц настрочить шерсть и запросто проглотить коня с поклажей, верблюда с шерстью. Они, эти юркачи умели запросто копейку обернуть рублем, улыбаясь, вежливо загребать все, что плохо лежит и сказочно обустранивать свою жизнь. Выходит, и его



Бахыт – парень не промах. И он, где надо шустрит. Неслучайно, видно, работает в нескольких прибыльных местах, ходит у правителей в советниках, заправляет какими-то фирмами и холдингами, корпорациями да консалтингами – черт ноги сломит в их названиях. Кто бы подумал – такой тихий, скромный, вежливый, мухи не обидит, обходительный, деликатный, а доли своей, видно, ни за что не упустит. То-то – и в глазах вечная забота и тревога, и печать усталости на обнажившемся челе, и кудри заметно поредели. Попробуй содержать такую махину-квартиру да день-деньской вертеться в высших слоях...

– О том, коке, не беспокойся, – отмахнулся Бахыт, когда отец поделился своими сомнениями. – Казахстан богат. На наш век хвагит. И за независимость мы ведь не зря боролись.

– А, солай-ма? Ты тоже боролся?

– А как же, коке?! У самых истоков стоял. Есть заслуги.

– Надо же! Я-то полагал, что за нашу независимость боролись и проливали кровь наши славные батыры, мудрецы-бии, прозорливые ханы.

– Е-е, коке... конечно, они боролись. Но как? Дубинками да пиками, мечами да луками. А есть еще борьба умов, разума, дипломатии, хитрости, искусства, интеллекта. По этой части наши славные предки были не больно-то искусны.

– Апырай, а! – задумался Мамбет Казиевич. – Наверное, я что-то не понимаю. Почему-то в ауле я независимых не заметил. Там, наоборот, сплошь зависимые. От погоды, от начальства, от законов и беззаконья, от новых порядков, от приватизации и черт знает еще от чего.

– Ну, коке, это сложный вопрос. И мы с тобой его не решим. К тому же переходный период, реформы. Не все сразу наладится. Неизбежно мокропогодица. Независимость еще не гарантирует сплошное благоденствие. И при независимости будут и бедные, и богатые.

Мамбет Казиевич кивнул головой, вздохнул.

– А ты, сын мой, выходит, из богатых?

– Ой, коке, не смейся меня! Это в ауле считают, что если у тебя две коровы и десяток овец, то ты уже богач. Вот это, – он повел вокруг руками, – разве богатство? Это, если хочешь знать, норма. Э-ле-мен-тар-но! Богатство – это когда владеешь заводами, землей, гостиницами и ресторанами, пароходами, банками. А это все – мелочь. Тьфу!



Мамбет Казиевич промолчал, не зная, что и сказать.

– Сноху жалко, – сказал он вдруг. – Как ей такие хоромы содержать?

Бахыт расхохотался. Хохотал долго, до слез. Даже лоб покрывлся испариной.

– Ой, коке! Да разве ваша сноха убирать станет?! Она же тоже на работе. Убирают Вильма и Ольга, служанки. При необходимости помогают чеченец Ахмет да немец Рихард. Помощников сколько угодно.

– Но ведь им тоже надо платить?

– А как же, коке! Платить надо за все. В рынке живем.

– Е-е... Солай де!

Многое в жизни сына старику было непонятно, непостижимо.

Глава седьмая

Немыслимо представить аулы по всему безбрежью Казахстана, где не обитали бы немцы-переселенцы. Осколки народа, называемого где аллеманами, где саксонцами, где тевтонцами, позднее – этническими, русскими, российскими и даже советскими немцами, появились в Степи, особенно в Акмолинской губернии и на Павлодарщине. еще в конце XIX века, потом – в годы Столыпинской реформы, большевистского раскулачивания, тотальной советизации, коллективизации, организованного голодомора, а уже в массовом порядке – осенью 1941 года после сталинского указа от 28-го августа о переселении немцев Поволжья на просторы Сибири и Казахстана. И не только с Поволжья насильно свезли в Степь несколько сот тысяч немцев, но еще столько же из Крыма, Кавказа, Украины и других окраин великой империи.

Степь приняла в свои объятия всех обиженных и обездоленных в одночасье – немцев, корейцев, поляков, чеченцев, ингушей, турков, крымских татар, курдов, карачаевцев, калмыков, балкарцев, греков, хемшидов, помимо ссыльных и административно высланных детей -представителей разных других народов.

Не стал исключением и крохотный аул у озера с одинокой турангой.

Еще в начале сентября, в первый год войны, когда по разморенному воздуху плавали серебряные нити, с железнодорожной станции, затерявшейся в глухомани, достави-



ли в аул на стареньком «Фордзоне» с прицепной тележкой пять немецких семей с немудреным скарбом. Поглазеть на немцев собрались все местные жители – и стар, и млад. Всех охватило недоумение: и немцы были похожи на людей с руками и ногами, ушами и глазами, и даже рога не росли на их головах. Были и среди них мужчины, бабы, старики и старухи, подростки, дети. Вид их был усталый, изнуренный, подавленный, говорили почему-то тихо, на непонятном наречии, озираясь вокруг, будто были напуганы на всю оставшуюся жизнь. Привезли они с собой тощие баулы и самодельные, наспех сколоченные сундуки. И одежды они были не по-здешнему.

– Эй, неужели они – немцы?

– И с такими мы воюем?! У них же еле душа в теле.

– Они, кажется, в жизни досыта не ели.

– Е-е... бейшара... бедняжки...

– И куда их поселят?..

О том, видно, думали и приезжие. Мужчины оглядывались вокруг, будто что-то прикидывали, озабоченно о чем-то переговаривались. Женщины и дети, прижавшись друг к другу, сидели на баулах, молчали.

Местные глазели на приезжих с любопытством и страхом. Русских случалось видеть хоть изредка в соседних селах и райцентре, немцев же – впервые.

– Странно: и клыков нет, и оружия не видно.

– Вроде люди как люди.

– Апырай, а! И немцев довелось видеть.

Подъехал верхом на кауrom жеребце Алеке-баскарма. Выставился на кучку растерянных пришельцев, выковырял указательным пальцем изжеванный насвай из-за оттопыренной нижней губы, смачно сплюнул.

– Эй, немыс, здрасти, – сказал на всякий случай.

– Страфстуй... те, – ответили неуверенно двое-трое.

Восседа л коротконогий, кряжистый, рябой баскарма в седле, будто на троне. Солнце пригревало по-летнему ласково, но из-за лесочка налетал зябкий ветерок, белесые гучки метались по небу. На баскарме был выцветший, заметно засаленный, наглухо застегнутый френч, фуражка, низко надвинутая на лоб, изрядно помятые брюки-галифе, направленные в тупоносые сапоги. Сразу было видно: хозяин, владыка, привыкший повелевать колхозом с седла.

Баскарма кнутовищем почесал затылок, что-то соображал, наморщив лоб.



– Э-е... котен так! – сказал, наконец.

– Гутен таг.... гутен таг! – дружно откликнулись приезжие.

Казахи повеселели лицом: «Уай, наш Алеке запросто каляет по-немецки».

И у немцев потеплели глаза: «Либер Хайланд, у киргизов, оказывается, добрые лица».

– Е-е... стыряйт... бах-бах... нету?

Немцы не сразу поняли. Потом один догадался.

– Найн, най н... нихт шизен. Стреляйт нету!

– Карашо, – сказал баскарма. – Стрыляйт плохо. Работать – хорошо.

– Я, я... арбайтен... арбайтен. – отозвались немцы.

– Карашо! – заключил баскарма и показал кнутовищем в сторону заброшенной саманной кошары. – Там, там! Понятно?

Приезжие поняли: в пустующей, полуобвалившейся по краям саманной кошаре им предлагают поселиться. Конечно, это лучше, чем оставаться под открытым небом.

– Данке... данке шен... Спасибо!

Кто бы мог подумать, что развалюху-кошару, покрытую камышом и дерном, можно приспособить под жилье. А тут еще и зима была не за горами. Месяца через два-три залягут дожди, потом заснежит-запуржит, завоют-задуют свирепые ветры. Видно, приезжие все понимали. И захлопотали-закопошились возле кошары с утра до вечера. Как же они были мастеровитые, умелые, предприимчивые! Все спорилось в их руках. А заправлял всеми делами рослый, сутуловатый, сухолицый, обросший жесткой сединой немец по имени Фриц. Слушались его приезжие беспрекословно. Местные жители и не предполагали, что именно так неистово можно работать. И при этом все делать без суеты, надрыва, аврала, а размеренно, с толком, с умом. Их вожак, Фриц, постоянно внушал: «Работать следует так, чтобы и на завтра оставались силы». Мужчины перекрыли крышу, аккуратно уложили дерновые пласты, укрепили углы кошары. Женщины месили глину, обмазывали стены. Кошара преображалась на глазах: появились новые двери, оконца, отсеки, по которым располагались семьи. Слежавшийся намет убрали, выскребли, пол устлали полынью, чтобы вытравить овечий дух. Убрали и весь хлам вокруг, разбили дорожки. Аульчане диву давались: до чего все ловко получалось у пришельцев. И всему у них находилось



применение – каждому бревнышку, бруску, охапке травы, пучку тальника, камыша, белой глине в буераке, валунам в овраге, железякам в степи. В ауле восхищались: «Эй, эти немцы – чудоеи. Из ничего что-то сляпают. И такие приветливые, благодарные. На лицах их есть имам. И по-казахски сходу болбочут. Вон орыс Журавлев всю жизнь живет среди казахов, а до сих пор два слова по-казахски не свяжет. А эти на лету все схватывают. Непонятно, как среди них фашисты-кровопийцы завелись? Может, они не совсем немцы? Наверное, у них матери другие...»

И в колхозе пришлые горбились безотказно. Баскарма от радости стал меньше кричать и сквернословить. И если поначалу он то и дело срывался на ор: «Эй, немцы!», то вскоре, видя их расторопность и усердие, заметно помягчел, стал ласковей и, бывало, говаривал: «Ай, айналаин немцы...» Особенно удивляло местных ласковое обращение пришлых со скотиной. Безымянные колхозные буренки вдруг обрели клички – Марта, Майя, Зойка, Эльза, отзывались на зов немок, млели, когда теплой водой обмывали перед дойкой вымена. Замученные, норовисто-упрямые колхозные быки стали послушными. Даже аульные шелудивые путолайки при виде пришлых переставали брехать и уже издали помахивали хвостами.

Баскарма выделил переселенцам несколько пудов ячменя, овса, неочищенного проса, с фермы ежедневно отпускал пару ведер обрата, детвора удила рыбу, собирала перезрелую ягоду в ближних колках, выкапывала в степи солодковый корень. Аульные шалопан вечерами вертелись возле бывшей кошары, затевали с немецкими сверстниками-тамырами мальчишеские игры-забавы, каким-то образом изъяснялись, понимали друг друга. В устах казашат звучали неведомые доселе имена – Робка, Йоська, Адам, Гуго, Артур, Вилли, Саша, Оля, Аня, Гильда, Фрида, Курт. Переимчивость конопатой, рыжей немецкой детворы удивляла аульных жителей. Пришлые ребята быстро научились учтиво называть стариков «ата», старушек – «аже», молодых «апа», старались угодить взрослым, пригоняли с выгона скот, ходили за водой, собирали хворост и кизяк за кусок лепешки, за миску айрана, за горсть поджаренной в бараньем сале пшеницы, и сердца аульчан смягчились, недавняя настороженность развеялась, сердобольные старики и старухи называли ребятню другого роду-племени ласково «айналаин», гладили их по головкам, хватили за



понятливость и расторопность, одаривали немудреной аульной снедью – баурсаками-пончиками, коже-похлебкой, горстью курта или примчика, ложкой толченного вперемешку с сахаром тары-проса. Казашата и «немыс балалар» ходили вместе на озеро, в лесок, шатались по аулу шумной ватагой, горланили по-казахски «Балкадиша» и «Камажай» и по-немецки, сильно искажая слова “Schön ist die Jugend”, “O mein lieber Augustin” и “Hoch soll er leben”. Эти три песенки особенно пришлись по душе аульным голодранцам за простоту мелодии, игривость и доступность легко запоминающихся слов. Похваливая кого-нибудь, одобряя за добрый поступок, пацанва восклицала: «Ай, маладес!», «Жарайсын!», «Жигит!» и тут же вразнобой, как молодые петушки восторженно, торжественно, во все горло прокрикивали:

*Hoch soll er leben,
Hoch soll er leben,
Dreimal hoch!*

Получалось не очень слаженно, зато громко, от всей души.

Трижды спев старинную немецкую величавую, казашата спрашивали:

– Хох! Хох! «Хохың» немене?» Что за «хох»?

– Это «Хенде хох!», да?

Но и «немыс бала» не могли это вразумительно объяснить, ибо их познания в казахском языке ограничивались расхожими словами: нан, сүт, каймак, құрт, ірімшік, бар, кел, отыр, дос, ойнайық, от, ат, сиыр, ұй, жаксы, жаман.

Забавно было смотреть, как дети пришельцев и местных, взявшись за руки и встав в круг, изображали шуточный танец, умиленно подпевая при этом незатейливые слова:

*O mein lieber Augustin,
Augustin, Augustin,
Geld ist hin, Mädл ist hin,
Mädл ist hin, Geld ist hin
O mein lieber Augustin
alles ist hin...*

И, довольные собой, отдохотавшись, казашата спрашивали:

– Эй, Адам, Аукөстінің кім? Кто он такой, твой Аугустин?

Голенастый Адам, потрепав озабоченно рыжие вихри, объяснял:

– Жаксы жігіт.

– Немыс?

– Ну, да... немыс. У казахов Аугустинов не бывает.

– Ия, ия, – соглашались казашата. – У казахов бывают Ахмет, Аубакир, Алимхан, а Аугустинов нет.

«Аугустин» полюбился в ауле. Даже казашки-молодки то и дело вытягивали упоенно:

– О майн либер Аугустин, Аугустин, Аугустин...

Баскарма Алеке, услышав однажды на хирмане монотонную шаловливую немецкую песню, которую дружно напевали за работой немки и казашки, вслух изумился:

– Что же это получается? Там, – он тыкал рукоятью камчи в сторону запада, – наши азаматы с немцами воюют, кровь проливают, а здесь немецкие песенки поем?! Что это происходит? Немцы казахами стали, или казахи – немцами? Шорт знает что! Приедет уполномоченный, скажет: вражеская агитация. Голову мне оторвут. Е-е... ладно. Пойте, только работайте.

И, заложив за губу очередную порцию насвая, сплевывал палево-направо, все так же восседая на длинном кау-ром жеребце, как на троне, привычно заключал:

– Давай, давай! Работай, работай! Арбайтен! Тьфу!..

Слово «арбайтен» баскарме понравилось. Им он с некоторых пор заканчивал любую речь. Оно звучало в его устах весомо, раскатисто, призывно, как лозунг на все времена.

Баскарму Алеке в ауле уважали. Он был криклив, строг, но добр. С каурого жеребца он, казалось, не слезал. И аульские охальницы поговаривали, что он даже свою байбише любит, сидя в седле, как-то, мол, подстраивается...

К первому снегу бывшая завалюха-кошара обернулась вполне приличным, годным для жилья баракком. И в каждом отсеке появилось по маленькой печке-плите. Топили кизяком, сухостоем, камышом, соломой. И колхозную лямку переселенцы тянули исправно. Никакой работой не гнушались. И если косоглазый матершинник бригадир Аманхан, размахивая камчой, с трудом, уже ближе к обеду кое-как выгонял измученных аульных баб и подростков в поле, на ферму или на стан, то немцы спозаранок шли сами без окриков и понукания и делали все с умом, будто век работали в ауле у озера с одинокой турангой.

Баскарма радовался: «Мне бы еще с десяток таких немцев, и я бы горя не знал. Какой, однако, хороший народ, эти немцы! Скажи только: «Арбайтен!» и в лепешку расшибутся. И откуда на их голову навязался этот бешеный Китляр?!»

В марте 1942 года в трудармию забрали сразу шестерых немцев-мужчин. И немецкий барак, и казахский аул возле озера с одинокой турангой сразу опустели. На проводы немцев собрался весь аул. Женщины плакали. Дети долго бежали за санями, на которых призывников повезли в районный центр. Пригорюнились все. Особенно баскарма. Весна была не за горами. На носу суматошливая пора посева. А с кем пахать? С кем сеять? Много ли напашешь с бабами, с подлетками, со стариками на быках и коровах?... А уполномоченный из района, понятно, орет одно: «Все для фронта! Все для победы!»

Осиротел немецкий барак на краю аула. Женщины-немки еще больше сблизились. На работу уходили спозаранок, оставив полуголодных детей на попечение дряхлых старух, возвращались же поздно, а то и вовсе оставались ночевать на ферме, на стане, ибо сменять их было некому. Так и маялись, усталые, измученные, понурые, в неотступных думах о мужьях на сибирском лесоповале, в вечной заботе о прокорме заброшенных, растущих без ласки и тепла детей-полусирот.

Тянулись дуообразно унылые, тяготные дни, недели, месяцы в томлении, ожидании неизвестно чего, без радости, без любви, без песен, почти без надежд. Случалось, поначалу немки собирались в каком-нибудь стылом отсеке при тусклом свете керосинки или сальной свечи, тихо беседовали, жаловались на родном гессенском диалекте, делились скудными новостями, рассказывали сны, читали-перечитывали редкие, давние письма мужей, густо вымаранные армейскими цензорами, мечтали о конце войны, о возвращении в родные края, в покинутые поневоле дома, к родному очагу, брошенному в спешке, как в пожаре, о мужьях, братьях, которые вновь вернутся к семье, учили детей песням, потешкам на родном языке, заповеданном предками и еще не выветренном из памяти.

Но война не кончалась, от мужей письма приходили все реже, и от этих писем веяло безнадежностью, холодом отчаяния; милые душе воспоминания о былом и, чуясь, невозвратном растворялись в тумане, окутывающем весной



и осенью большое озеро с одинокой турангой; колхозная непосильная каторга выжимала последние соки; дети росли, как дикая трава в оттаявшей степи, чахлые и бледные; нищета зловеще выглядывала из всех щелей; колхозный бригадир все яростней размахивал камчой-восьмиплеткой, сквернословил на казахско-русской немецкой мешанине «Доннер веттер экеннін аузын твою мать», а баскарма, не слезая с жеребца рычал одно: «Все для фронта! Аррр-байтен!!»

Когда же наведывался из района коротышка – комендант регулярно на исходе каждого месяца и, собрав несчастных, перепуганных спецпереселенков в колхозную контору, изрыгал тяжелые, как булыжники, слова: «Враг народа!», «Немецкий фашист-оккупант», «Закон военного времени» и прочие угрозы, и вовсе жить становилось невмоготу. Ради детей, во имя мужей терпели все, сносили обиды и унижения, задавляя в себе женскую гордость и достоинство, ощущая себя покорными, безвольными рабынями.

Глядя на вечно подавленных матерей, и дети росли молчаливыми, запуганными, трусливыми.

– Мой коке на войне бьет фашистов! – хвастался задира Аскер.

– И мой коке в армии, – кротко заявлял Роберт.

– В какой?

– В трудармии.

– Ф-фи! В трудармии и автоматов нет, и орденов не дают.

Роберт шмыгал носом и молчал. Из одного-единственного письма от отца и рассказов матери он знал, что фатер сто валит лес в сибирской глухомани, живет в бараке за колючей проволокой, получает 600 граммов хлеба в день и миску баланды, и конвой со свирепыми овчарками не спускает с него глаз.

Но самая страшная беда подстерегала впереди. Весной 1943 года забрали в трудармию девушек и молодых женщин, у которых дети были старше трех лет. «Немецкий» барак в ауле опустел наполовину. Несколько малышей отвезли в детдом в областной центр. Братьев Артура и Курта Фогелей забрал к себе сторож и местный мулла Елемес. За остальными присматривали дряхлые бабушки. Старшим из мужского пола оказался теперь тринадцатилетний Карл Деграф. На Волге, в Половодино, он успел проучиться четыре года в немецкой школе, здесь, в ауле, месяца три посещал



казахский мектеп. Оказавшись самым старшим в классе. Карл рос любознательным и сметливым. Его отец, Генрих Деграф, еще в 1936 году первым в русско-немецком селе приехал однажды на чуде-тракторе ХТЗ-7. И это событие врезалось в память мальчика на всю жизнь. Он мечтал, что, повзрослев, тоже сядет когда-нибудь на трактор. А тогда, помнится, его заинтересовало устройство сноповязалки. В казахском ауле той техники, что было в поволжских колхозах, Карл не видел. О том и отец постоянно говорил. В МТС он, якобы, увидел только старый «Фордзон» и «Универсал», а на Волге, мол, тогда уже были и ЧТЗ и ХТЗ. Здесь же, в ауле, Карл уже 12-летним работал на лобогрейке. Это было не просто и ответственно. Надо было регулировать высоту среза хлебной массы, углядеть, чтобы коса не забивалась землей, да и за малолетним погонщиком присматривать, чтобы он случайно, уснув, не свалился с вола.

Пахал подросток Карл на волах и коровах однолемешным плугом, прсбывал постоянно на солнце и ветру, тянул юные жилы, вдосталь нахлебался пыли. По необходимости бывал и прицепщиком, и сакманщиком, и пастухом, а через год отправили его баскарма на курсы трактористов при МТС, и доверили юнцу Карлу Деграфу, еще до того, как его поставили на учет комендатуры как спецпереселенца, заметно изношенный, чумазный СХТЗ-НАТИ. Рослый, костлявый, закаленный в лишениях и непосильных трудах, Карл быстро возмужал, казался старше своих лет. Говорил хриплым баском, слова роиял скупю, ходил вразвалку, будто нес постоянно невидимую тяжесть, смотрел строго, по-казахски общался свободно. В ауле его все любили за надежный, добродушный характер, за услужливость, за приученные к любой работе умелые руки. Ни баскарма, ни бригадир не осмеливались повышать на него голос, а для аульной малышни он стал кумиром. Молодки вскоре стали называть его ласково Карлжан, любовались его ладной статью, широкими плечами, бугристой грудью, кулаками-кувалдами. Трактор его тарахтел безотказно. В пору уборки он пересаживался на комбайн. На все был горазд расторопный малый немыс Карл. Все спорилось в его руках. Баскарма души в нем не чаял. «Апырай, – досадовал он не раз. – Как жаль, что ты немыс, а то бы бригадиром назначил».

К лету 1946 года вернулись все трудармейки. Надорванные, резко состарившиеся, с потухшими глазами, бледными лицами, они вскоре разыскивали своих детей, с трудом



вдохнули жизнь в угасший было очаг, снова впряглись в колхозное ярмо, стали ждать мужей-кормильцев.

Объявился в аule один онкель Фридрих, согбенный, полуслепой, без зубов, безнадежно хворый. Все немки вместе выхаживали его, подкармливали, чем могли. Танте Амалия и две ее напарницы на исходе марта привезли его волоком со станции на детских санях. С полей еще не сошел снег, но дороги были раскисшие, слякотные, земля уже курилась, над проплешинами на солнцепеке вился парок, вороны надменно вышагивали по обочинам, зыркали по сторонам, высматривая из-под талого снега прошлогодний размокший колосок. Женщины умаялись, упарились, пока доволокли сани с укутанным сеном и разной ветошью обезноженного доходягу – онкеля Фрица. Тетя Маля часто останавливалась, подолгу всматривалась в живого мертвеца, не узнавая в нем бывшего крепыша-тракториста, спрашивала, смахивая слезы с запавших щек.

– Friz, Frizchen, lieber Gott, bist woll du?

Дядя Фриц, чуть шевеля руками, невнятно бормотал что-то в ответ.

Потом в бараке, собравшись вместе у его постели, женщины долго оплакивали своих мужей, загубленных в распроклятой трудовой армии. Дети же пугались дяди Фрица, точно призрака из страшной сказки.

Фриц-онкель, которого теперь все чаще называли Федором, часами сидел на завалинке, обложенный разной рванью, в разношеннх бурых валенках, в фуфайке и ушанке, тупо глядел вдаль и молчал целыми днями. Он обходился всего двумя словами – “ja” и “nein”. Чаще всего с его лиловых губ срывалось: “найн”.

Так, сидя на завалинке, он и угас.

«Жертва войны», – сказал у могилы баскарма и, сойдя с лошади, обнял безутешную Амалию.

«Все мы жертвы войны. И живые, и мертвые», – подумал тогда про себя юный Карл Деграф, приехавший на похороны прямо на тракторе. И еще он решил тогда взрослому: «Фрицу-онкелю все же повезло. Он хоть ненадолго вернулся в свою семью, побыл с женой, с дочерьми – белокурами Катенькой и Лизонькой, умер в окружении своих, на земле, которая приняла его без зла и ненависти в черный час. А мой отец... навеки остался в чужом краю, в тайге, под безымянным холмом, и никто и не узнал, что единственный сын пошел по его стопам – тоже стал трактористом... Жертва войны...»



Жилось тяжело – и немцам, и казахам.

Но надо было жить.

Немки сознавали: погибших мужей не вернешь, и возвращение на родную Волгу вряд ли суждено, нет возврата к прежней жизни, и ничтожный, плюгавый комендант будет измываться над ними всласть, и неоткуда ныне ждать защиты, никто, никто не пожалеет, не обласкает, не утешит, и бабья доля отныне горше степной полыни, и остается один-единственный смысл в этой измытаренной, жестокой жизни – растить, поднять детей, может, им со временем улыбнется какое-никакое везение. Ведь никак не может, не должна состоять жизнь из сплошного горя. Зачем же тогда светит солнце? Журчат ручьи? Блестит роса в предрасветный час? Зачем блещут звезды и сияет бездонное небо над головой божьих созданий? Пели ведь «болотные солдаты», исторгая из охрипших от простуды глоток затаенные слова надежды:

*Doch für uns gibt es kein Klagen
Ewig kann's nicht Winter sein!*

Да, да, именно так: зима не может длиться вечно.

В «немецком» бараке Карл Деграф слыл за старшего. Хлев подправить, свинью заколоть, огороды вспахать, сено подвозить, косу отбить, утварь починить, юнцов приструнить, веским мужским словом бабьи пересуды уговорить – все стало обязанностью и долгом долговязого, не по годам серьезного Карла. Только и слышно было: «Карлуша», «Карлхен», «Карл-ага» и даже почтительно «Кареке». Карл вскоре свыкся со своей ролью вожака, заступника, благодетеля не только «немецкого» барака, но и всего аула. С ним считались, к нему прислушивались и бригадир, и баскарма, и уполномоченный из района, и даже комендант, по-прежнему хорохорившийся перед ссыльным людом. И Гермина, передовая доярка, не могла нарадоваться своим сыном. Сознание своей нужности окрыляло Карла. Мысль-мечта о возвращении на родину, в немецко-русское село Половодино возле речушки Караман, понемногу улетучилась, растворилась в дымке памяти о прошлом, все чаще казалось, что жизнь его, Карла Деграфа, началась, собственно, отсюда, с казахского аула возле степного озера с одинокой турангой, с этих безбрежных полей, с березовых колок, тянувшихся до горизонта, до сказочной шири во все сторо-



ны, с бездонного неба с белесыми облаками, беспокойно метавшимися от края до края, с ощущения необъяснимого чувства божьей свободы, когда душа ликует, поет от полноты жизни и затаенного предчувствия счастья.

Карлу нравилось вставать еще до зари, когда мать неслышно выбиралась из барака на первую, утреннюю дойку на ферму, когда аул еще находился в объятиях зоревое сна и даже аульные пуστοлайки предавались сладкой дреме, в сутемени сжевать ломоть ржаного хлеба, запить молоком из большой эмалированной кружки, окунуться в утреннюю свежесть, вслушаться в оглушительную тишь, полюбоваться на сизый предрассветный туман над озером, внимать веселому, призывному теньканию скворцов, наблюдать за возней воробьиной стайки в кустах акаций, смотреть на едва брезжущую алую полосу у горизонта и на яркую одинокую звезду Шолпан – предвестницу нового дня.

Сладостные мгновения бытия!

Карл делал круг возле остывшего за ночь трактора, зорко подмечал, все ли на месте, все ли в порядке, потом заводил его, прислушиваясь к стрекоту мотора, в ключья разрывавшего утреннюю тишь, и поневоле, на казахском манер, привычно пробормотав «бисмилля», выезжал в поле, которое начиналось тут же, за околицей. Путь пролегал мимо школы на бугорке, где тоже спозаранок обходил свое владение аульный мугаллим Мамбет Адилев. И после войны Мамбет-ага не расставался несколько лет с выцветшим кителем, истыканным орденами и медалями, с памятными, обвисшими брюками-галифе, с обтерханymi до белизны сапогами. Он ходил вокруг ветхой саманной постройки с двумя классами и крохотными закутком: учительской, что-то обдумывая, прикидывая, ожидая учащихся начальной школы, которых можно было пересчитать на пальцах двух рук. Школа была маленькая, а заботы большие. И недавний фронтовик Мамбет-мугаллим не знал покоя.

– Ассалаумагалейкум. Маке! – приветствовал учителя Карл, перекрикивая грохот трактора.

– Саламат бол, Карлжан! – живо откликнулся мугаллим. Приглуши свой тулпар, спустись на минутку, потолкуем.

– Э, Маке, некогда. Поле ждет, – отвечал Карл, однако, приглушал мотор, спрыгивал на землю, подходил, протягивал почтительно обе руки к учителю. Карл заранее знал, о чем, пойдет разговор. «Видишь, фундамент разрушается. Завез бы несколько валунов из оврага». «Смотри, вокруг



школы голо. Выкопал бы в лесу десяток сосенок». «И тут-алет вон покосился. Поправить бы надо. Ты ведь председатель школьного совета». «Пропахал бы поглубже полосу вокруг школы, чтобы скотина не лезла».

У учителя свои заботы, у баскармы – свои, у директора МТС – третьи. А Карл Деграф один. И трактор в колхозе один. Вот и крутись.

На поле Карл забывал о всех заботах-горестях. Трактор-трудяга тарахтел безумолку, выстреливая клубы дыма. Плугом умело управлял, привычно сквернослова, кособрюхий старичок Ишан. С весны до весны не снимал он замасленный, молью изъеденный лисий треух, старую фуфайку, из всех прорех которой торчали бурые клочки ваты, непомерно огромные, бог весть откуда раздобытые, на толстой подошве «амыркановые» сапоги.

Поле простиралось едва ли не от горизонта до горизонта. Борозда ложилась ровная, необходимой глубины. Земля дымилась. Пласты бугрились глыбами, комками. Их потом приходилось дробить и разровнять бороной. За бороздой тянулись стройными рядами вороны, сороки, скворцы, выклевывали прошлогодние зерна и лениво шевелящихся дождевых червячков. Из лесков поддувал свежий ветер. В воздухе струились запахи оттаявшей земли, талой воды, прелых листьев, оживающей муравы. Высоко в голубеющем небе кружились стервятники, заливался одинокий жаворонок, зависнув в одной точке. Над лесочками тусовались грачи, вили гнезда. В степи пересвистывались суслики. Стремительно проносились косяки. Вдали дрожало сизое морево.

Здесь, на приволье, Карл Деграф забывал про депортацию, про бедность барачной жизни, про убогий быт, про назойливого коменданта, про то, что он спецпереселенец, находящийся на спецучете, что он лишен многих прав, что отторгнут от того, что положено нормальному человеку, здесь, на поле, на своем верном, безотказном тракторе, он чувствовал себя нужным, свободным, ибо у него не могли отнять любимую, достойную мужчины работу, вольные думы, тихие, затаенные мечты.

Шел между тем Карлу девятнадцатый год, и все чаще думалось, мечталось до шемящей дрожи в груди, до сладостного холода в пояснице о тихой маленькой, как птаха, рыжеватой девчонке Марии Ленгле из соседнего колхоза «Верхняя туранга». Ей исполнилось только шестнадцать,

а уже три года работала на ферме телятницей и нынешней весной стала прицепщицей. Увидел ее Карл впервые на МТС, куда она приехала в мастерскую поточить и сменить лемех. Увидев мельком, поздоровался, перекинулся несколькими словами, узнал, что сирота, живет у тети Гульды, что проучилась всего три года, а дальше учиться возможности не было, надо «тянуть» малолеток – сестренку и двоюродных братьев. Потом вместе пообедали в затрапезной столовой МТС.

С того времени и началась неведомая маета в душе Карла.

Встречались редко. Чаще всего на меже с соседним колхозом. О чем говорили – сами не понимали. Но говорить было в радость. В мечтах влюбленного тракториста светлолицая, стеснительная девчонка из соседнего колхоза мерещилась своей прицепщицей, приставленной именно к нему. Полевой стан соседнего колхоза находился за межей, на опушке колка, и Карл при возможности навещался туда, чтобы хоть мельком увидеть Марию – маленькую, хрупкую, укутанную в платок, тоже в фуфайке и кирзачах. Красивей Марии во всей округе для Карла не было.

Она была родом из швабов и говорила на потешном наречии. Так Карлу чудилось. Он же изъяснялся с матерью и барачными жильцами на гессенском диалекте, так как говорили на Волге, на луговой стороне, дома, в семье. В шутку он называл Марию иногда “Schwabenliesel” и вспоминал запомнившуюся строчку из старинной песни:

*Hopsa, Schwabenliesel, dreh dich rum
und tanz a bissel.*

*Hopsa, Schwabenliesel, dreh dich rum
und tanz!*

Увы, о танцах говорилось только в песне, а было не до танцев. Трактористу из «Верхней туранги», чумазому, пропитанному до костей соляркой, мазутом, керосином, кривоногому, ворчливому Ахметжану, почему-то очень не нравилось, что приبلудный «немые бала» положил глаз на его прицепщицу – «немку-кызымку».

– Эй, Карл, – орал он вечно простуженным голосом.

Ищи себе забаву в своем колхозе. А то невзначай морду набьешь.

И старичок-прицепщик Ишан не одобрял увлечения своего «начандыка»-тракториста.



– Немыс бала, арбайтен! За твой махаббат бригадир нам с тобой палочку по труднодню не поставит.

Встречались урывками, укрادкой. На краю березового колка, на меже двух колхозов торопливо и неожиданно признались однажды в своих чувствах.

Мария простодушно сказала, опутив глаза, словами швабской песни:

*I gugg de o
mit ganz verliebde Auga,
von alle Seida.*

Не все он понял в ее потешном выговоре, гессенский юноша, но «verliebde Auga» всколыхнули его влюбленное, пылкое сердце, и он схватил ее на руки и закружил ее, потеряв голову от счастья.

– Машенька, пойдешь за меня замуж? – допытывался для большей ясности Карл по-русски.

– А ты серьезно? – тихо вопрошала она, подняв на него огромные глаза.

– Еще спрашиваешь! Да я... я...

– Пойду, – твердо ответила Мария.

Осенью 1948 года, получив разрешение от коменданта и баскармы соседнего колхоза, Карл привез на тракторе Марию в «немецкий» барак. Гермина, счастливая, взволнованная, благословила молодых и переселилась на кухню. Баскарма Алеке на радостях, что заполучил в свой колхоз еще одну работницу и в честь передовика-тракториста, выделил на свой страх и риск барашка и полмешка пшеницы. А накануне немецкого рождества, когда немки обучали своих чад старинным песням “O Tannenbaum” и “Stille Nacht, heilige Nacht”, заехал в аул комендант и огласил секретный правительственный указ, из которого явствовало, что немцы переселены навечно и что нарушение закона, своеволие караются каторгой сроком на двадцать лет.

Уныние и тоска окутали «немецкий» барак, как тучи в ненастье.

Слово «навечно» враз перечеркнуло оставшиеся зыбкие надежды.

Первым пришел в себя Карл.

– Значит, будем жить и строиться здесь. Ist eigentlich nicht's zu machen.

И с весны следующего года тракторист Карл Дегграф, спешпереселенец, обреченный на вечное поселение, пер-



вым в ауле «Нижняя туранга» начал строить дом с просторной комнатой, с кухней, кладовкой и крыльцом по собственному разумению, преодолевая все страхи и сомнения. Бессменный баскарма Алеке одобрил его затею и даже выискивал посылочно поддерживать стройматериалами.

Дом на окраине села возле озера поднимался медленно и тяжело. Пока он строился, у молодых родились две дочки Эльма и Зельма, а потом – уже в новом деревянном доме последыш Эдвин.

Времена менялись.

Раны, нанесенные войной, медленно затягивались.

Подрастало новое поколение.

Благие перемены докатились и до аула.

Подворья расширялись. Люди обзаводились скотом, заимели огороды, перевели дыхание.

Жизнь – хоть и со скрипом – входила в известное русло, обретая снова смысл и надежду.

Карлу Деграфу другая жизнь, жизнь вне этого аула, без знакомых перелесков, степей и озера, привычных троп и людей с их столь понятными заботами, не представлялось, не мерещилось. Он как бы пуповиной прирос к этой земле и обустраивать, облагораживать ее стало его долгом и потребностью.

Уже в начале 60-х годов прошлого века Карл возвел новый дом, просторный, высокий, из четырех комнат, с верандой, а прежний стал временкой, подсобкой, летней кухней, бакхаузом. Карл с Марией мечтали о ладной жизни в новом благоустроенном доме с детьми, с внуками, в согласии и мире, достатке и радости. Ведь они высланы «навечно», о возврате к прошлому в распушенной автономии на Волге речи нет, да и Марию Волга не прельщала, ее ведь депортировали с Кавказа, а дети все родились уже здесь, на казахстанских просторах, значит, нечего строить воздушные замки, разумно довольствоваться тем, что есть, и почему бы здесь не пустить корни – работы навалом, ширь немереная, народ добрый.

Так думалось.

И к этому, казалось, все шло.

Но вышел очередной указ, отменивший прежний о «навечно» выселении. Сняли с спецпереселенцев кое-какие ограничения. Сгинул комендант. Можно было выезжать и в область, и даже дальше без разрешения райУМВД. У молодых появилась возможность учиться. И Эдвин, последыш,

малый с явными музыкальными задатками, окончив областное музыкальное училище по классу баяна, стал подумывать о других берегах, заявив однажды опешившим родителям: «В этой дыре я загнивать не буду. Однозначно!»

И уехал. Гастролировал с каким-то инструментально-вокальным ансамблем, удивляя отца-тракториста шальным заработком, с головой окунувшись в водоворот немецкого национального движения в Союзе, начал сначала горячо ратовать за восстановление автономии немцев на Волге, а вскоре с таким же напором и азартом – за тотальный исход из страны, которая, мол, обернулась для российских немцев мачехой.

Карлу Деграфу эти затеи были внове. Он понимал тягу российских немцев жить вместе, возродить родной язык, былую культуру, школы, газеты, радио, чувствовать себя равными, вытравить из себя страх, все это его волновало и манило, но уезжать из края, где – пусть и поневоле – прошла вся твоя нелегкая жизнь, в неведомую страну предков его никак не прельщало, не укладывалось в голове, и озадаченная Мария, сбитая с толку яростными рассуждениями любимого сына, в душе все больше разделяла настроение мужа.

А дочка Эльма, едва окончив агротехникум, выскочила замуж за механизатора-целинника из Белоруссии и упорхнула из отчего дома, а потом, в начале 90-х, тоже умудрилась выехать в вожделенный «фатерланд».

Супруги Деграф опешили. И что же им теперь делать в огромном доме? Для кого они его строили, жили тянули, ночами не спали, копейку сколачивали? Вся надежда оставалась на строптивую, своевольную Зельму, которая, как, однако, вскоре выяснилось, тоже грезилась о другой жизни. И самое странное: из аула стали уезжать не только пришлые инородцы, но и коренные жители. Заговорили о бесперспективности аула, что он, мол, обречен, иссяк и потому разумно аулчанам переезжать в город – там и работа, и культура, и будущее нации. И это говорилось устами благодетелей народа. И взять это в толк Карл Деграф не мог. Он почему-то полагал, что аул – основа казахов. Сам же он аул у озера с одинокой турангой никак не воспринимал временным обиталищем, местом ссылки.

Уехала и Зельма со своим Оскаром-меннонитом, сначала в Россию, потом – в Эстонию, а еще через пару лет пришло от нее письмо из Германии. В письме Карл обнару-



жил глянцевую фотографию, где возле белой, непонятной марки машины на зеленой лужайке перед двухуровневым особняком с цветниками, улыбаясь во весь рот, стояли его счастливые дети – Эдвин, Эльма, Зельма, со снохой, зятями, внуками и самодовольным, огромным, как бычок, брыластым псом. Полная идиллия! Дети звали родителей в Германию. Это, мол, несложно: воссоединение семей полагается по всем законам. Пенсию получите изрядную, да еще разные пособия. Будете жить, как у Бога за пазухой. На старости лет хоть узнаете настоящую жизнь. Путешествовать будете по всей Европе. Хватит вам торчать в казахской дыре. Довольно горбатиться ни за что, ни про что, ни за понюшку табаку. От письма веяло самонадеянностью, бахвальством. Карл вздохнул: «казахская дыра» резануло по сердцу. «Неужели немецкая дыра слаше?!» – подумалось мимовольно. Или у нас машин нет? Или тряпья нет? Что за спесь? Пристроились к чужому достатку и землю под собой не чувт...

«Успеем, – решил Карл Деграф. – Приспичит – видно будет. А пока нам и здесь хорошо. И никто нас не гонит. Зачем мне жить в чужом раю, если я за всю жизнь ничего для этого рая не сделал?»

“Ja, ja... richtig, – согласилась Марня. – Не будем им обузой. Сами все безработные. На социалке живут».

Так оно и было. Никого из аусзидлеров не только по своей профессии, но и на другую работу не принимали в пресыщенной Германии. Разве что на временную работу уборщицы, obsługi, дворника, грузчика, разносчика. И шпрахкурсы вроде окончили, и сертификатами обзавелись, и компьютер освоили, и пообтерлись, понемногу избавлялись от прежней ментальности, местным манерам подражать сподобились, а все равно за три версты можно было распознать позднего возвращенца из бывшего Союза. Никто их за немцев не считал, а говорили с тайным вызовом и злорадным преимуществом – русские, киргизы, казахи, узбеки. Одно спасение, что в Дойчланд кишмя-кишели и другие экзотические представители рода человеческого – турки, эфиопы, хорваты, румынские цыгане, сербы, поляки, евреи и Бог весть кто еще, и на фоне этого вселенского сборища растворились как-то и российские немцы. Поначалу такое отношение их удивляло, возмущало, озадачивало, ну, как же, они ведь тоже немцы, пусть обрусевшие, оказахившиеся, испорченные, разболтанные



кровью других народов, потерявшие себя, заблудшие, отторженные, отверженные, какие угодно, но немцы. немцы же, потомки германцев, и вот вернулись, наконец, на свою историческую родину, на Хайматланд, к своим единокровникам, соплеменникам, а их таковыми не считают, к ним относятся с такой же убийственной вежливостью и равнодушием, как и к остальным многоплеменным гастарбайтерам. Нет, к гасторбайтерам относятся лучше, ибо он хоть и чужой, а работник, а российский немец безработный, можно сказать, чужой, которого почему-то полагаются терпеть. Но что делать? Бедному родственнику кто будет радоваться, тем паче если этот родственник слишком отошел от своих корней, разболтан разными кровями, напрочь лишен современного языка, болбочет на жуткой мешанине-каудервельшь и представляет собой средоточие всяческих заемных пороков и необъяснимой, диковинной ментальности. Какой же он немец, если только вчера вышел из тундры, из азиатских степей, из сибирской глухомани, из казахстанской глубинки, туркменских пустынь, из вчерашних колхозов и совхозов? Попробуй его за короткое время окультурить, приводить к европейскому стандарту и облицию, идентифицировать и интегрировать в современное немецкое общество вчерашнего тракториста, комбайнера, прицепщика, бульдозериста, сакманщика, доярку, телятницу, рисовода, мираба, забойщика, овчара, табунщика, верблюжатника, мастера искусственного осеменения, таежника-охотника... либер Готт, да таких профессий в Германии и в помине нет. И что с таким бедолагой делать, который полжизни или даже, считай, всю жизнь вкалывал в колхозе «на быках», то есть крутил волам хвосты и покрикивал день-деньской: «Цоб! Цобэ!» или пахал землю однолемешным плугом, или погонял быков, запряженных в косилку с мотовилом? Так, какую же работу, с позволения сказать, такому немцу, прикажете представить в цивилизованной европейской стране?! Полное недоумение, недоразумение, непонимание, неприязнь и обида обрушились на поздних возвращенцев из Советской империи, искренне полагавших, что наконец-то, двести с лишним лет спустя, после стольких мытарств и унижений, инспирированных Властью, вернулись в лоно этнической родины, вожделенного фатерланда, к единокровникам. А единокровникам аусзидлеры оказались нужны, как собаке пятая нога. Поначалу, еще в аденауэровские времена и позже, в бытности берлин-



ской стены, возвращенцы были нужны как предмет политического торга, как объект идеологической игры и только, и только, и только...

Тракторист из «Нижней туранги» Карл Деграф все это не очень четко сознавал, но чувствовал чутким сердцем, здравым умом и, бывало, споря с пылким Эдвином, убежденным, что только в Германии он раскроет свой дар и ему распахнуться там райские куши, говаривал в запальчивости: «Сын мой, кто... кто, скажи на милость, нас там ждет и кому мы нужны?! Немцам тамошним и без нас забот хватает. Куда это годится: один народ и то разделен стеной. Брось!»

Из всех детей, зятьев и снохи работу нашел в Германии лишь Петя – зять-белорус, живчик, балагур. Он оказался самым расторопным и практичным. Ему не надо было выдавать себя за немца, он ни на что не претендовал, никакие амбиции не раздирали его душу, даже на шпрахкурсах штатны протирал всего два месяца, возненавидев и шпрехерай, и слабые и сильные немецкие глаголы, а походил-походил, пригляделся-присмотрелся и нежданно-негаданно устроился грузчиком в одной кнайпе, потом ночным развозчиком почтовых посылок. О большем он и не мечтал. Остальные из его клана довольствовались в основном «социалхильфе», околачиваясь по «амтам», унижительно удостоверяя каждый раз свою беспомощность.

«Ну и что? – продолжал хорохориться Эдвин, который на своем баяне играл на русско-немецких свадьбах и разных земляческих тусовках. – Зато одеты, обуты, сыты. Крыша над головой. Цивилизованно. И – главное – никто никому не указ.»

Карл не спорил, лишь бы детям было хорошо, но чудилось ему, что ныне как раз он свободен, самостоятелен, живет в уважении и почете, сам себе хозяин, а вот дети выбрали себе судьбу на задворках бытия, оторванные от всего, от земли, на которой выросли, никому не нужные, довольствующиеся призрачным, в сущности пустым прозябанием, живущие на подачках страны, для которой ничего не сделают и, судя по всему, никогда ничего не сделают.

Одно угнетало: болезни Марии. Она, уйдя на пенсию, как-то погрузилась в себя, по-прежнему копошилась по дому, справлялась со всеми обязанностями хозяйки большого подворья, отвозила излишки на районный базар, но без прежнего интереса и азарта, достаток ее не радовал.



а неведомая хворь незаметно подтачивала ее, силы уходили. Перебои в сердце, частые головокружения, боли в пояснице, приступ слабости преследовали ее. О больнице, врачах она и слушать не хотела. Что могут врачи, если организм сам себе помочь не в состоянии? Пила какие-то отвары, настойки, целебные травы, пользовалась самодельными мазями, парилась в бане, перемогалась, как могла. И однажды, убирая слежавшийся наем в овчарне, вдруг потеряла равновесие, упала, и вечером, придя с сенокоса, Карл обнаружил ее, неподвижную, в хлеву. Врач из «Верхней туранги» приехал на мотоцикле на третий день и проронил: «Инсульт».

На похороны матери прилетела из Германии одна Эльма.

«Хватит! – сказала дочь после поминок. – Заполняй антраг. Мы вышлем вызов».

«Не время, – проронил убитый Карл. – Может, через год-два. Как я брошу свежую могилу? А если честно, мое место здесь. Я должен лежать рядом с Марией. Да, зоо...»

Дочь уехала: кончилась виза.

Остался Карл один в пустом, просторном доме, один со своим безмерным горем, постылым одиночеством, грустными воспоминаниями.

Жизнь лишилась смысла.

На могилу Марии Карл ходил каждый день и, сидя на низкой скамеечке, сколоченной за оградой возле холмика, подолгу предавался безутешным думам и разговаривал то ли с духом усопшей, то ли сам с собой.

Аулчане заботились о нем, навещали его, утешали, как могли, приглашали после сороковины попеременно к себе. Особенно часто навещал его мугаллим Мамбет, тоже похоронивший свою байбише.

Дни проходили в однообразии и унынии. Время для Карла Деграфа точно остановилось. Четко разграничилась грань: до Марии, с Марией и после Марии. До Марии мерещилось в далеком зыбком тумане. С Марией – сплошной свет, ясный, солнечный день; после Марии – мрак, длинная, безрадостная ночь.

Дети настояли на своем. Два года спустя, вконец одичавший от одиночества и заброшенности, душевной масты, Карл Деграф съездил в район, разыскал местного учителя немецкого языка, председателя общества «Видергебурт», с



его помощью оформил все бумаги-антраги, собрал всевозможные справки-документы, снял нужные копии, отправил детям, и те сдали его прошение туда, куда надо, в эмиграционный центр, и усердно тормошили тамошних бюрократов-крючкотворов, которых в Германии на диво оказалось больше, чем где-либо на свете.

И вот тот час настал.

Светлый или черный – он не знал.

Покидал Карл Деграф родной аул с тяжелым сердцем. Сомнения терзали его душу.

Навсегда?

Возврата нет?

Как он будет жить на чужбине?

Завершался круг жизни.

Его жизни. Единственной.

И это было похлеще депортации 1941 года.

Тогда оставалась надежда.

Теперь надежда истаяла, как туман на рассвете над озером с одинокой турангой.

Навсегда?

Навсегда... навсегда...

Глава восьмая

Субботним вечером Бахыт выкроил время и провел в семейной обстановке небольшую пирушку в честь приезда отца в город. Нечто похожее на ерулик. Разговор о тое-ерулике продолжался несколько недель, но что-то никак не налаживалось. Все время подворачивались непредвиденные дела и причины.

– В эту неделю меня избавь. Некогда! – категорично отрезала однажды сноха, когда Бахыт осторожно заикнулся было о необходимости по достоинству отметить долгожданное воссоединение отца с сыном.

– А что так? Опять аврал?

– Сезон высокой моды. Конкурс красоты. Костюмы для делегации. Демонстрация мужского стриптиза. Аврал! Запарка! Не до тоев.

– О господи! Тоже мне событие! – фыркнула Лаура, презрительно поджав губки. – Можно подумать... Обойдётся без меня. Нужен мне больно ваш шалман.

Бахыт с укоризной воззрился на нее.



– Между прочим, Мамбет Казиевич – мой отец, а тебе дедушкой приходится. И он не в гостиницу приехал, а в семью. И праздник семейный.

– Ф-фи, слова сказать нельзя! Сразу нотации начинаются...

– В самом деле, – еле сдерживала возмущение сноха. – Пригласи своих в ресторан и баста. Обязательно в квартире, что ли, пиры закатывать?

Мамбет Казиевич смутился.

– Верно келинжан говорит. К чему эти хлопоты? Ну, приехал и приехал. Зачем суетиться ради аульного старика? Люди вы занятые, городские...

– Нет, коке! Так не годится. Есть же обычай, приличие. А у меня друзья, знакомые. Скажут: отца не мог встретить, как следует.

Мамбет Казиевич в душе и сам признавал, что по такому случаю по заветам предков, конечно же, приличествует «окровавить нож», то есть, зарезать какую-нибудь животинку, накрыть дастархан, пригласить близких, сватов, друзей сына и невестки, исполнить положенный ритуал, высказать благопристойность, ублажить семейных духов, укрепить остов очага. Так ведь исстари заведено. И если городская невестка о том не ведает, то Бахыт ведь обязан это прекрасно сознавать. И дело вовсе не в Мамбете Казиевиче, ему-то как раз никаких почестей, пожалуй, и не надо, он вполне обойдется без всякой показухи и суеты, тем паче он здесь, на новом месте никого и не знает. И сын ведь каким бы шишкарем не был, все же не с неба свалился и не безродный какой-то, а родился, как и все, от отца и матери, и отец его тоже не первый встречный-поперечный, не мамбет аульный, не заурядный старичок в заскорузлой шубе, бараньем малахае и в самодельных воловьих сапогах, а заслуженный человек, мугаллим, отличник просвещения страны. И приезд отца к сыну, на новое местожительство, в новую квартиру, которая не снилась, надо полагать, ни одному степному хану, – разве не событие?! И напрасно сноха намекает на ресторан. В ресторан можно пойти и отобедать в любой день по любому поводу.

Впрочем, как хотят. Им, молодым, виднее. Что он будет лезть, как говорят, в чужой монастырь со своим уставом?

Проходили дни, недели, месяц, другой, а дети никак не могли определить время и место для проведения семейного тоя, заповеданного обычаем предков.



Чувствовалось, что невестка ни о каком тое и не помышляла. Видно, у ней и в самом деле хватало своих забот.

Еще в ауле старику иногда грезилося: будет он жить-поживать в городе, в тепле, сытости и уюте, по утрам учтивая невестка потчевать его чаем, угощать городскими яствами, слушать его стариковские назидания, внуки внимать с разинутыми ртами его поучительным речам, впитывать дедовскую мудрость, и душа аульного мугаллима замлеет от благодати и нескончаемой идиллии. Во многом так оно и обернулось. Жил он, действительно, в тепле, сытости и уюте, окружал его сплошной достаток, правда, чай он пил чаще всего в одиночестве или в компании с конопатой молчуньей Вильмой, не в меру аккуратной домработницей, и внуки не внимали его наставлениям, и думами-мыслями делиться было не с кем. Сказать, что сноха невнимательна к свекру, он тоже не мог. Невнимание ее заключалось в том, что она, казалось, вовсе его не замечала. Уже через неделю после приезда свекра она, оказавшись с ним наедине, очень вежливо и холодно все ему растолковала и разъяснила:

— Значит, так, почтенный Мамбет Казиевич. В этом доме все регламентировано. Все подчиняются разумному порядку. У каждого свои дела и обязанности. От вас ничего не требуется. Ни-че-го! Комната в вашем распоряжении. В холодильнике все, что надо, всегда есть. Баня под боком. Белье меняйте каждую неделю. Грязное складывайте в корзину на балконе. Ольга отнесет в прачечную. Все остальное под рукой. Гуляйте возле дома. За оградой не ходите. С разной шантрапой-старичьем не якшайтесь. Лишних разговоров избегайте. Читайте газеты, слушайте радио, смотрите телевизор. Все! Никаких обид-недоразумений не должно быть. Договорились?

Такого крутого разговора Мамбет Казиевич никак не ожидал и от растерянности только пробормотал:

— Хорошо, хорошо, келинжан. Я все понял. Какие могут быть еще обиды?

— Ну и славненько.

Но в душе остался нехороший осадок. И несколько дней старик только обдумывал каждое слово деловой невестки. Немного его коробило. «Апырай, могла бы и помягче сказать. Сам бы догадался. А лучше бы промолчала». Потом оправдывал ее. «Что ж... Все верно. Во всем нужна определенность. Должен же я знать, на что рассчитывать...» И все же Мамбет Казиевич был явно обескуражен. Особенно



его огорчило то, что сноха не пожелала его пускать даже за ограду. Однако и тут он пытался оправдать сноху. «В самом деле, зачем пускаться в случайные знакомства? И сын, и сноха – видные люди. Ляпнешь невзначай что-нибудь не то, и поползут тары-растобары. Кому это нужно? Видно, в городе язык держать лучше за зубами. На чьей телеге едешь, того песню и пой...»

Бахыт тоже все оттягивал с тоем, и были на то разные причины:

– Та-ак, в эту неделю не получится. Командировка в Арабские эмираты и коллегия в Астане.

– И в эту субботу не складывается: жигиты затеяли соревнование по гольфу. Иностранцы профи приезжают.

– Ч-черт! Опять нестыковка: встреча в Атырау с американцами.

– Соломон только через неделю приезжает из Парижа. Да и Жан с Авелем в отъезде. Никак их вместе не соберешь.

– Да, ладно, Бахытжан, – утешал сына отец. – Выкинь из головы. Зачем лишняя морока?

Мамбет Казиевич и сам видел: сыну недосуг. Слишком много забот на себя взял. Так закрутился, что неизвестно, когда с женой спит. И спит ли вообще...

Старик давно замечал, что сын, почти всегда возвращаясь поздно, даже в спальню не заглядывал, а укладывался спать на большом кожаном диване в кабинете. Ни разу не видел Мамбет Казиевич, чтобы невестка выходила когда-нибудь из кабинета сына. «Когда они только детей соображали?» – недоумевал про себя старик.

Вообще отношения в семье сына показались старику странными. Каждый жил как бы сам по себе, в своей комнате, лишь иногда сталкивались невзначай в неохватном коридоре или на просторной кухне.

Как-то Мамбет Казиевич осторожно поделился своими сомнениями с внуком, и тот, сразу все смекнув, с ухмылкой заметил:

– А у нас конфедерация. Сосуществуют четыре суверенных кантона.

Любил внук шеголять мудреными словечками и выражаться заковыристо. И хлебом не корми, дай только поерничать.

И все же сын и невестка уж как-то сладили, столковались, сподобились однажды в субботний вечер провести застолье в честь отца.



Дастархан накрыли в зале на двенадцать персон. Торжеством распоряжалась сама невестка. В расшитом ярком вечернем арабском халате, в немыслимой прическе, вся напوماженная, надушенная, мягкая и вкрадчивая, томно-списходительная, она порхала по гостиной и коридору, шуршала плотной тканью, волнами спадающей с плеч, встречала гостей, принимала цветы, наигранно восторгалась, обворожительно улыбалась, ворковала сладко-сладко, с придыханием, демонстрировала отбеленные зубки, гладкую шею с нежным подбородком, звякала при каждом движении огромными серьгами-кольцами и браслетами и при этом распоряжалась двумя полуголыми молоденькими официантками из соседнего ресторана, то и дело строго оглядывала стол, заставленный диковинными яствами и дорогой посудой, от обилия и разнообразия которых виновник торжества испытывал оторопь.

Все сверкало чистотой и вопило о достатке. От праздничного стола исходило сияние. Мамбет Казиевич, чисто одетый, с тщательностью расчесанной, ослепительно белой, благообразной бородкой, в очках и золотом вышитой такня-шапчонке, держа в одной руке газету, с любопытством заглянул было в зал, да так и застыл от изумления на пороге. Две туготелые ресторанные официантки, приглашенные невесткой специально на подмогу по столь торжественному случаю, – одна смуглая, жгучая турчанка, другая голубоглазая, белокурая то ли немка, то ли латышка, ошарашенно выставились на выросшего у порога старика и, заметив его растерянность от дастарханного изобилия, приснули со смеху.

– Что, ата, нравится или будут замечания? – на чистейшем казахском языке спросила белокурая.

«Е-е, – мелькнуло у старика. – Видать, из наших немцев. Они балабонят по-казахски лучше казахов...»

– Ойбай, айналайн, такой дастархан только в кино показывать.

– Рахмет, ата. Для вас стараемся, – пропищала черноглазая смуглянка.

Тут, будто из-под земли, выросла у парадной двери озабоченная невестка и сдвинула бровки. Мамбет Казиевич, уронив газету, наклонился было за ней, но невестка строго воззрилась на него.

– Это еще что такое?!

– Га-га-газета, – растерялся старик.



– Вижу! Но чтобы этой мерзости не было в нашем доме. Зачем вам «Свобода слова»? Вам «Казахстанской правды» мало?!

– Да, нет... Я просто так... Из-за любопытства.

– Вас пригласят, когда надо, – проронила холодно невестка.

Старик поспешно засеменил в свою комнату, а официантки застыли у стола, как вкопанные.

– Да, да. Келинжан, извини. Я просто так... невзначай.

Испуганной птицей заверещал звонок над входной дверью. Сноха, вспыхнув, зашуршала арабским халатом-накидкой по коридору.

Через мгновение густой гусиный клекот огласил эхом огромную квартиру.

– А вот и мы, божественная Зухра-ханум! Спешу засвидетельствовать мое почтение. Вот!

– О-о! – застонала-заворковала невестка. – Боже! Ты, Серж, как всегда неотразимо галантен.

– Х-ха-а! – пророкотал самодовольный гусиный голос. – А я, видно, как всегда, первый?

– Ты, Серж, неизменно первый, – польстила гостью невестка. – И точен, как... как...

– Как Кант, хотите сказать?

– Как король... Что-то в этом роде.

И оба, довольные, расхохотались дружно, в унисон – сытый, бархатистый баритон и звонкий, как колокольчик, залиvistый, счастливый женский смехок.

«Опять этот хмырь смазливый» – с досадой подумал Мамбет Казиевич в своей комнате, не смея выглянуть и прислушиваясь к шорохам, чмоканиям и возне у входной двери.

За время, пока старик жил в этом доме, он частенько сталкивался с обладателем сочного гусиного клекота. Он Мамбета Казиевича почему-то раздражал.

Гусиноголосый вел себя развязно, вольно, уверенно. Казалось, он уверовал в своей неотразимости и полагал, что его обожают все. Старик особенно не нравилось, что, переступив порог, он никогда не снимал обувь, как полагается у правоверных, что явно поигрывал своим раскатистым гусиным голосом, точно известный певец в опере, что откровенно любовался собой и картинно встряхивал кудрями до плеч. И еще имел гусиноголосый обыкновение, выпучив глаза-маслины, в упор разглядывать челове-



ка, вгонять его в смущение, снисходительно похлопывать собеседника по плечу, похихатывать к месту и не к месту.

И такой был из себя ухоженный, холенный, отутюженный, всегда в галстуке-бабочке, ослепительно белой сорочке. Все на нем и при нем выделялось изысканностью, редкостью и безукоризненностью: и манжеты, и заморские часы, и золотой, с узором, браслет на правой кисти, и всякие застёжки, и перстень на мизинчике, и запонки, и краешек яркого платочка из-за нагрудного кармашка. И причудливый, щекочущий ноздри аромат исходил от него – смесь ликованных духов, дорогого шампуня, марочного коньяка и модного дезодоранта. «Не хватает только серьги в ухе», – с издевкой думал про себя Мамбет Казиевич.

Почему-то он сходу его не взлюбил. Что и говорить, жигит был из себя что надо, видный, броский, рослый, манерный, галантный. И все же неприятный. Скользкий, лживый какой-то, неестественный. Хмырь. Хлыщ. Задавака. Фрондер. Угодник. Так определял его про себя Мамбет Казиевич.

– Серж, – представился он при первой встрече и, щелкнув каблуками, откинув фалды пиджака, избоченился, изогнулся перед стариком, будто собирался приложиться к ручке невидимой дамы.

– Странное имя. Что-то у казахов не встречал, – сдержал раздражение Мамбет Казиевич.

Серж осклабился.

– Ну, вообще-то Серик... Но сколько себя помню, только и слышу «Серж», «Серж», а то и «Сергей». Привык.

– Из казахов?

– А что, ахсахал, сомневаетесь? Правда, бабка говорят, татаркой была. И дед по матери уйгур.

– А-а... Оно и видно, шырағым...

Случалось, Серж навевался в отсутствии Зухры-келинд, и тогда старик, проявляя гостеприимство, пил с незваным гостем чай на кухне. Сержу аульный старик был неинтересен, а Мамбет Казиевич едва терпел хлыща-щеголя.

– Где, прости, работаешь?

– В корпорации Зухры Ганиевны.

– Е-е... помощником, заместителем?

Серж уловил усмешку в вопросе старика и ответил с вызовом:

– О, нет, ахсахал. Ни у кого заместителем не служу. Даже у Зухры-ханум. Разве что коллегой. Я дизайнер, художник. Вам ахсахал, это о чем-то говорит?



– Смутно представляю.

– Могу уточнить: дизайнер по имиджу тканей, по аксессуарам. Вам, впрочем, это не понять.

– О, да! Куда уж...

– Редкая профессия! – Серж разгладил мизинчиком густые брови. – Приходится много думать, размышлять, экспериментировать.

– Догадываюсь. И кому нужны ваши... е-е-е... эксперименты?

– О! Элите. Крутым. Эстетам. Понимающим толк в изысканном гардеробе.

«И чего он клеится к моей снохе? – все чаще задавался вопросом Мамбет Казиевич. – Вечно путается под ногами. И келин хороша. Жеманничает. Кокетничает. Млеет. Непонятные разговоры ведет. Уединиться норовит. И что она нашла в этом манекене?..»

Странно было и то, что сын с подчеркнутым безразличием относился к частым визитам самоуверенного молодца. Будто так и надо. Словно он первый друг семьи.

– Этот... Серж опять приходил, – как-то доложил Мамбет Казиевич сыну.

Тот только отмахнулся.

– А-а...

Старика это тревожило. Серж мог наведываться и утром, не стеснялся прижать к себе и целовать ручку келин и при старике, и та вся ворковала-таяла, потом они подолгу исчезали за дверью спальни, потом куда-то вместе уезжали, и у Мамбета Казиевича при виде назойливого гостя тоже бухало сердце и кровь прилиwała к вискам. «Эй, и куда Бахыт – только смотрит? Что за странные отношения? Или у городских так принято?» – недоумевал старик про себя.

– А-а... Серж?! – сказал старик однажды, открывая дверь, и почувствовал, что голос его дрогнул. – Зачастил что-то, милоч...

– Дела, ахсахал, дела-а... – многозначительно произнес Серж. – Работа такая. Ра-бо-та, понимаешь, ахсахал?

Все было в нем противно, даже то, как он коверкал на ломаном казахском языке слово «аксакал».

Станным казалось то, что и дети привыкли к постоянному визитеру, словно так и должно быть. Арыстан называл его «дядя Серж» и вел себя с ним совершенно раскованно, даже запанибратски. Лаура глядела на него с затаенным женским любопытством, звала его подчеркнуто-кокетливо



Сериком Коразбаевичем.

Старик не удержался, поинтересовался у внуков:

– Кто он такой, этот Серж.

– Мамин коллега, поделщик, – тотчас отрубил Арыстан и по обыкновению пояснил еще более туманно. – Чичеро-не... а еще точнее – мамин чичисбей.

Лаура скривила губки.

– Амюзант... Фармазон Альфонсович.

К стыду своему, всех этих слов Мамбет Казиевич не знал, но уловил нечто нехорошее, насмешливое.

Вот и сегодня Серж завалился на праздничный ужин первым; облобызал Зухру, и та, вилия упругими бедрами, повела его сразу к себе.

– Проходи, Серж! Сейчас подойдут и остальные.

– Баха́-то дома? – нарочито громко спросил гусяного-юсый Серж.

– У себя... Деловые разговоры ведет.

– О-о, – приложил палец к губам Серж. – Не будем мешать...

Вскоре опять завершала электрическая птаха над косяком. Мамбет Казиевич, не дождавсь ни сына, ни снохи, сам прошаркал к входной двери. За порогом с огромными букетами в руках тесно стояли четверо импозантных, как на подбор, жигитов и одна миниатюрная, с кукольным личиком молодка-келиншек с огромной, аляповатой коробкой под мышкой.

– Что такое?! – возвысил голос длинноволосый, в ши-рокополой шляпе, скуластый – явно в годах, но по всему молодящийся азамат. – Где хозяева? Или не ждали?!

У самоуверенного скуластого гостя был пронзительный взгляд и капризный голос публичного баловня.

Услышав его, тотчас выскочили из своих комнат хозяева.

– О, Соломон-ага! – завершали, засуетились.

Мамбет Казиевич, растерявшись, отступил в сторону. «Вот-те раз! Я думал, Соломон – еврей, а он ни дать, ни взять казах, – мелькнула мысль, и тут же осенила догадка:

Да это же тот самый, которого он десятки лет видит в газетах и по телевизору».

Соломон широким жестом снял шляпу, церемонно поклонился, поцеловал хозяйке ручку, вручил цветы, приобрел Бахыта. Вслед за Соломоном вступили в квартиру и остальные и начался галдеж.



- Ой, Карлыгашка, ты возмутительно молодеешь!
- Здравствуйте! Ассалаумагалеюкум!
- Мир вашему дому!
- О, о, о!..
- Ах, ах, ах!..
- Уай, уай, уай!
- Эй, Авель! Ай, Жан-ага! Уа, Сарсен!
- Милости просим!
- Какие люди! И все без охраны!
- Сливки общества!
- Цвет страны!
- Уай, уай, уай!..

На раскатистый, многоголосый, с переливами и придыханиями шум не утерпели-таки, выглянули из зала полуобнаженные, цветущие молодостью и свежей красой официантки в белых, ажурных фартуках.

– Бонжур! – помахал им парижской шляпой широколицый Соломон.

Те, улыбнулись во весь рот, изображали книксен.

Старик незаметно прокрался к себе. Он чувствовал себя лишним и растерянным. Широколицего он давно знал как поэта, историка, сценариста, очень популярного среди обрусевших казахов, которых называли «шалá» и «адá». Имя его в свое время гремело на всю страну. Говорили о нем, что он потомок славного воина-батыра. В последние годы он пропадал в Европе, где-то представлял страну, оторвался от своей среды и, приезжая изредка, давал налево-направо интервью, чаще всего с большим апломбом, но совершенно невпопад, что раздражало проказахски настроенную молодежь, которая в разных газетах усердно клевала и шпыняла давнишнего кумира. Звали широколицего Сулейменом, и Мамбет Казиевич и не предполагал, что именно о нем шла дома речь, когда говорили о некоем Соломоне. Другого гостя, которого называли Жан-ага, недавно еще занимал высокий пост в правительстве и нередко мелькал рядом с Большим человеком. Третий, по имени Сарсен, часто и остро выступал в печати, не по возрасту степенный, сдержанный, вроде как находился где-то послом, но Мамбет Казиевич не мог вспомнить – где. Ну, а четвертый с неказахским именем Авель слыл богачом и меценатом – не то банкиром, не то олигархом. Плосконосая, миниатюрная молодка приходилась, видно, кому-то из них то ли женой, то ли подружкой-канизачкой.



Все это живо представилось Мамбету Казиевичу, до которого донеслись смех и обрывистые фразы из углового кабинета сына.

«Апырай, как я с ними буду восседать за одним столом? И о чем мне с ними говорить? Скажут: дундук аульный. Только сына опозорю», – с волнением подумал старик, стоя у окна и любуясь окутанными дымкой горами.

И остальные гости не заставили себя долго ждать. И опять столпились возле входной двери гости и хозяева и заметались гулким эхом по длинному коридору восторженно-радостные голоса:

– О, Есмакан! Сколько лет, сколько зим?!

– Ай, айналаин Бигайша, чайка казахской поэзии.

– Ах. Каршыга! Наконец-то сподобились и тебя лицезреть.

– А-а, Ереке, краса и гордость земли казахской!

– Слушайте, а по какому случаю столь знатный курултай?

– О, было бы желание, а повод всегда найдется.

– А– ха –ха!

– Э– хе –хе!

Вскоре гости разбрелись по кабинету, залу, балконам. Мамбет Казиевич затих, затаился в своей комнате, прислушиваясь к отдаленному гулу. Он почувствовал зябкую дрожь по всему телу, сердце зачастило, в затылке заныло, как всегда, когда подскакивало давление, а во рту стало сухо. Пришлось прибегнуть к испытанному коринфару. Он слышал, как гости стекали в зал, как задвигали тяжелыми стульями, как милашки-официантки из ресторана откупоривали бутылки, и все раздумывал, как ему быть: то ли выйти к гостям, показаться, поздороваться, то ли терпеливо ждать, пока его пригласят.

Наконец, кто-то резко толкнул дверь, и Арыстан в белой рубашонке, розовой жилетке, в галстучке-бабочке, встал, точно слуга-дворецкий в каком-то фильме, дурашливо отвесил поклон и в своей насмешливо-ернической манере торжественно произнес:

– Ваше высокоодинчество Бахадур Мамбет ибн-Казисултан-бей. милости просим к столу в вашу честь

– У, зубоскал, – пробормотал старик и, унимая слабость в ногах, направился в гостиную.



Глава девятая

Когда Мамбет Казиевич, волнуясь, торжественно вошел в зал, позвякивая орденами и медалями на новом пиджаке, Соломон, встряхнув крашеной гривой, подхватил его под руку и отвел на почетное место во главу стола. Все встали. Кто-то захлопал. Гости вразнобой приветствовали старейшину.

– Добро пожаловать, аксакал!

– Наше почтение!

– С новосельем! Пусть легко и приятно живется вам на новом месте.

– Да сбудутся ваши слова, айналаиндар! Ауминь!..

– прознес старик и по привычке огладил жидкую сивую бородавку.

Возникла пауза. Белокурая официантка, размалеванная, как кукла, подбюркнула к старику, придвинула к нему плоскую расписную тарелку с пышногрудой красоткой на дне, перебрала почему-то три разновеликие вилки слева, три тоже разных ножа справа, а продольно к тарелкам положила еще одну большую вилку и нож с широким лезвием. «Апырай, зачем мне столько? – мелькнуло в голове старика. – Хватило бы и одной вилки». Рядом с тарелкой выстроились, как постовые, огромный бокал, средний фужер и крохотная рюмка. Белокурая развернула туго накрахмаленную жесткую салфетку и положила старику на колени. Тут же подскочила и растелешенная тугогрудая смуглянка, склонилась к нему, обдав волной духов, учтиво спросила:

– Вам коньяк? Вино? Водку?

– Соку желтенького, – шепнул старик.

Недавний оживленный разговор оборвался. Все чего-то ожидали. Один Серж нашел себе занятие, бодро и артистично откупоривал бутылки, изяшно выстрелил пробкой шампанского, наполнил бокалы и рюмки, вежливо отстранив официанток, кому-то накладывал закуску на тарелки, изогнувшись над столом, точно бильярдист, прицелившийся кием к шару.

Наиболее раскованно держался Соломон. Он чувствовал, что находится в центре внимания, видел, как дамы следили за каждым его жестом, ловили каждое его слово, и он по привычке всеобщего любимца и баловня немного играл на публику, сам подливал себе в пузатый бокал темно-красного вина и понемногу смаковал его, причмокивая



и принохиваясь, время от времени откидывая резким движением головы непокорную прядь волос со лба. Неловкую паузу заполняли гости Карлыгаш и Бигайша, обозревая с наигранным восторгом роскошный дастархан и восклицая на разные лады с придыханиями:

– Прелесть!

– Диво!

– Ах, ах, пальчики оближешь! Язык проглотишь!

– Прощай, фигура.

– Ну, Зухра, сразила наповал.

Зухра Ганиевна сияла, скромно восседая рядом с мужем, поправляя на груди прозрачную арабскую накидку, дотрагивалась до серебряных браслетов с золотой вязью-крапинками, не спускала умиленно-настороженных глаз с Сержа, сходу слишком много внимания уделявшего кокетливой Лауре, замлевшей от изысканных ухаживаний соседа. Вообще Зухра-ханум была против того, чтобы ее взбалмошная дочь сидела за одним столом со столь знатными гостями. С этой вертихвосткой довольно и ее студенческих пирушек. Пусть научится сначала вести себя поприличней. Но Бахыт настоял: праздник семейный, ритуальный и желательно, чтобы все домочадцы присутствовали, хотя бы ненадолго. Стыдно перед старым отцом ударять в грязь. Расфуфыренная Лаура, затмив своими юными прелестями и гибким станом моложавую мать, выпорхнула вдруг из своей комнаты, точно пташка, и опустилась на стул рядом с верзилистым Сержем, будто заранее обусловились, и тот сразу распустил хвост, затрепетал ноздрями, замаслился усиками, высказывая изощренную галантность. Лаура шельмовато опускала глазки, нервно водила оголенными плечиками, напрягала грудки, польщенная вниманием маминого обожателя. И Зухре-ханум это совсем не понравилось, хоть она и старалась делать вид, будто ничего не замечала. Но первыми все заметили щебетуньи Карлыгаш и Бигайша. Они многозначительно переглядывались, ухмылялись краешком губ, едва заметно покачивали ухоженными головками, удивляясь дерзкой юнице и тайно злорадствуя. Мужчины прекратили недавний спор, не зная, очевидно, в какое русло направить застольный разговор и можно ли откровенничать в присутствии дам и аульного старика.

Беседа не налаживалась, разговор пошел вразнобой. Надо было завести застолье, но чувствовалось отсутствие



записного тамады. Зухра Ганиевна, зная беспомощность своего благоверного в подобных делах, раза два выразительно посмотрела на Сержа, тот всегда мог к стати вернуть какой-нибудь анекдот на любую тему, поведать подобающую случаю притчу, витиевато плести словеса о заслугах любимчиков народа – славных азаматов, подкладывать, что называется, подушку под мягкое место, но сегодня он был то ли не в форме, то ли оробел в присутствии избранной публики, опасаясь попасть впросак, то ли слишком увлекся юной собеседницей, чувствуящей себя если и не царицей бала, то по крайней мере именинницей. Другие мужчины тоже не спешили брать в свои руки бразды правления, сдерживались, чего-то выжидали, незаметно поглядывая на Соломона. Как-никак тот был среди них старший по годам и положению, к тому же прибыл издалека, гость, так сказать, особенно почетный, высовываться раньше него, конечно же, неприлично, бестактно. На традиционное благословение аксакала из аула рассчитывать тоже было рано, батá по ритуалу уместна в конце. Проявлять активность со стороны женщин в подобных случаях не поощряется. Бахыт, опустив тяжелую голову на слабой, юношеской шее, теребил салфетку, скручивал и раскручивал ее, будто это было его главным занятием. Зухра-ханум начала ерзать. И тут запел мобильник Арыстана. Он заполошенно вскочил, выхватил из-за пояса телефон, ринулся в коридор, зацепился за ковер и распластался у порога. Мобильник отлетел в сторону.

Все засмеялись.

Вслед за этим затренькали сотки сразу у трюх, и все трое озабоченно разбежались по углам, держа аппарат у уха. Едва, переговорив, они вернулись на свои места, как на разные лады подали музыкальные сигналы мобильники в сумочках дам, и они выскочили на балкон. И тут пошло-поехало, будто сговорились. Так перекликаются петухи на рассвете. Из каждого кармана, из-за каждого пояса дзинь-дзинь, и-ги-ги, у-гу-гу, ша-ша-ша, шу-шу, гу-гу. У одного Мамбета Казиевича ничего ниоткуда не звенело.

– Всем враз приспичило, – пробасил Соломон. – Эдак наше застолье превратится в какафонню.

Вернулся к столу Арыстан, словно исполнил важную миссию, сосредоточенно навалил себе на тарелку салаты, мясные деликатесы и в предвкушении удовольствия шмыгнул носом.



– С кем, Арыстанчик, говорил? – поинтересовалась Зухра.

– Ай, бабы донимают. Достали, блин, – отмахнулся Арыстан.

– Что-о?! Какие бабы?

– Да девчонки из класса.

За столом переглянулись.

– Жи-гит! – одобрил Соломон.

– Предлагаю, господа, всем на часок-другой отключить мобильную связь, – предложил Арыстан.

И первым щелкнул кнопкой.

Гости опять переглянулись и рассмеялись.

– Устами младенца гласит истина, – заметил Серж.

– Истина – да, – серьезно отпаривовал Арыстан. – Но «младенец» в данном случае неуместен. Я здесь младенцев не вижу.

– Во дает! – вырвалось у Лауры.

– Айналайн, – восхитился внуком Мамбет Казиевич.

За дастарханом чуть оживились.

Соломон встал, картинно потряхнул гривой. Воцарилась тишина.

– Дорогой Бахыт и божественная Зухра! Сегодня памятный день: мы собрались в вашей новой, уютной квартире. Желаю, чтобы ее не покинули мир и благоденствие. Крепкий семейный очаг – основа радости и счастья. Поздравляю с воссоединением семьи. Аксакал в доме – благо. Три поколения под одним шаныраком – редкость в наше время. Да и четвертое, надеюсь, не за горами. – Соломон улыбнулся Арыстану – Да будет крепка босага этого дома!

– Рахмет, мой младший брат, – сказал Мамбет Казиевич, приподнявшись и приложив правую ладонь к сердцу.

Мед тебе в уста.

Все встали, сдвинули бокалы.

Выпив, потянулись к яствам. И потекли-полились один за другим тосты-пожелания, короткие и длинные, прямые, как скала, и диковинные, как казахские накладные узоры на кошке. Долше всех говорил краснобай-советник Есмахан. Начал он издавека, откашливаясь и поминутно поправляя очки на грубом, изрытом оспой, чугунном лице и временами поправляя рассыпчатые, жесткие, как конская грива, волосы. У гостей на лицах появилось скорбно-унылое выражение. Все знали: государственный советник по политическим вопросам наверняка будет говорить долго



и красноречиво по стародавней привычке читать лекции по марксизму-ленинизму в провинциальном университете. Весь вопрос в том, с какой отправной точки он начнет. Если с арабского Востока, то еще можно вытерпеть его словесный поток, если же возьмет старт с Древней Греции, то доведет всех до обморочного состояния. Сегодня непонятно, почему, советник коснулся многоженства Зевса, потом завернул к Аполлону, перешел к вакханалиям и безумствам древних греков, слегка пожурил Афродиту за невоздержанность, потом странно заговорил о примитивизации общественного сознания, об инерции в жизни, об агрессивности человеческой природы, о разрушении надежды человечества на прогресс в XXI веке, о ложном мироощущении, охватившем человечество в предчувствии всеобщего катаклизма, об очеловечении в нечеловеческом бытии, о гуманизме, который должен вернуться назад в эпоху высокого стремления человека к Богу.

Советника понесло, остановить его не было никаких сил, мудреные словечки метелицей порхали с его уст и было непостижимо, в каких только глубинах его сознания рождаются, вскипают, цепляясь друг за другом, дикихвинные, в пене, в мыле, слова, будто таинственный паук затаился где-то под черпаком и плел, плел, плел свою нескончаемую паутину.

– Господи, о чем он мелет?! – прошептала непосредственная Лаура своему соседу Сержу. И все это услышали, а Серж двусмысленно закатил глаза.

И тут подал голос Соломон, успевший за время спича говорливого любомудра выцедить пару бокалов вина и опустошить тарелку с закусками.

– Спустись, Есмахан, с заоблачных высот на землю. А то мы, грешные, ничего уже не в состоянии понять.

Советник стушевался, снял очки, протер их салфеткой, тоже, видно, подумав, что же он, собственно, хотел сказать и где и по какому поводу толкает речь, но ухмыльнулся снисходительно и продолжил, с натугой выгребая к основной мысли своего явно затянувшегося спича.

– Истинная любовь к людям начинается с семьи, и то, что наш главный гость, е-е, не гость, а теперь уж домочадец, почтенный аксакал Маке вернулся в благоустроенное лоно сына, есть достойный акт, свидетельствующий...

«Апырай, где он, интересно учился?» – подумал про себя Мамбет Казиевич. – И как в его мудрой башке помещается



столько всякой всячины?! Он же любого в усмерть заговорит. Неужели Большой человек нуждается в его советах? И неужели он в состоянии его выслушать?»

– ...акт... акт... свидетельствующий... е-е-е... свидетельствующий о том, что время для спасения еще есть.

– Спасения, простите, кого? – наивно поинтересовалась Бигайша, облизывая пересохшие губы.

– Человечества, – буркнул неожиданно Арыстан.

– Bravo, bravo! – воскликнул гусяноголосый Серж.

– Остроумный парень, – одобрительно прогудел и Соломон и обернулся к советнику. – надо было, Есмахан, начать с более раннего периода. С Адама и Евы, например. И еще упустил древний Египет, Осириса...

Соломон сделал паузу, вспоминая, кого бы еще назвать, но тут опять вклинился Арыстан.

– Тутанхамона и султана Бейбарса.

За столом опять захихикали. А Бахыт строго посмотрел на расшалившегося сына-недоросля, и тот опустил глаза, погасил озорной блеск в черных зрачках и стал внимательно разглядывать грудастую красотку на дне тарелки.

После занудной речи самовлюбленного советника Есмахана гости никак не смогли сменить тональность дасгарханного разговора, все опасались, что и Соломон начнет вдруг рассуждать о дифтонгах и трифтонгах, и тогда уж туши свет – никому никогда не удастся выбраться на другую колею. Была еще одна опасность: Бигайша сочиняла стихи и не упускала возможности услаждать слух публики своими виршами. Но сегодня, видно, никак не подворачивался удобный случай, да и присутствие мэтра Соломона ее немного стесняло. Тот дамское творчество не особенно жаловал.

Тему беседы неожиданно повернула Карлыгаш. Она писала в каких-то заумных журналах туманные статьи о миропонимании степняков-тенгрианцев, об этнографии древних этносов, о культурологии и религиоведении и слыла в светской среде весьма продвинутой и смелой дамой, обладающей крутым нравом и самодостаточным интеллектом.

– Уважаемый Есмахан Абдрахманович, вы в очередной раз, как всегда, поразили нас своей эрудицией и глубоким анализом современного общественного процесса. Находясь на ответственной государственной службе, будучи главным, верховным визиром Улькен адам по политическим вопросам, вы поразительно проникновенно и либе-



рально затронули деликатнейшие струны критического воспитания поколений. Вы нащупали тончайший нерв, задели подспудные ньюансы философии оппозиционности. Не знаю, все ли это уловили, но ваши мысли созвучны тезису, изреченному еще Конфуцием. За буквальную точность не ручаюсь, но мысль эта примерно такова: для каждого общества важно воспитать критическое поколение. И то общество, которое не воспитало критического поколения, становится опасным. Такое общество просто-напросто обречено. Режиму всякому, понятно, нужна стабильность. Но мнимая стабильность рано или поздно оборачивается распадом, разладом, трагедией. Потому и нужна оппозиция. Я бы сказала: философия оппозиции.

– Но... простите, я об оппозиции ничего не сказал, – развел руками советник.

– Напрямую не сказали, но из ваших суждений вытекало, что... – настаивала Карлыгаш.

– Да ничего не вытекало, – недоумевал советник.

– Вытекало, вытекало, – подтвердила Бигайша.

– Жан, скажи ты, – обратился Соломон к долговязому, улыбчивому и молчаливому Жану. – А то наше застолье превращается в научную конференцию по проблемам тенгрианства.

Жан встал, едва не задев головой люстру, улыбнулся всем.

– Да, дамы и господа, не будем забывать, однако, по какому поводу мы собрались. А повод – долгожданное единение отца и сына. Я, знаете, люблю на сон грядущий почитать Библию. При том на немецком языке, дабы не забыть студенческие навыки. И мне вспомнились сейчас две фразы. Может, даже не из Библии, а из молитвенника. «*Nein, ich spüre, daß ich älter werde*» – «Господь, я чувствую, что становлюсь старше». И: «*Am Ende aber laß mich nicht einsam sein*» – «А в конце не оставь меня одиноким». Я полагаю, что слова эти звучали в душе и нашего аксакала Маке. И великое счастье, что отец и сын вновь обрели друг друга под единым шанраком.

– Bravo! Молодец! – раздалось за столом.

– В самую точку! Әрі қыска, әрі нұска, – с легкой картавинкой по-казахски произнес Амель.

– Ende gut, alles gut, – похлопал Жана по плечу Сарсен, также блеснув своими немецкими познаниями.



Застольные разговоры оживились, но обрели откровенно политический крен, к досаде хозяйки дома. Она изо всех сил старалась казаться улыбчивой, гостеприимной, обаятельной, подавала знаки официанткам, подбадривала гостей, но бровки ее хмурились все озабоченней, взгляд становился тревожным, ее раздражали Карлыгаш и Бигайша, пересевшие на диван и оживленно судачившие между собой, и Зухра подозревала, что они наверняка зубоскалили по ее адресу, сразу обратив внимание на бестактность красавчика-жуира Сержа, уж больно усердно ухаживающего за взбалмошной Лаурой. Досадовала Зухра и на растяпу мужа, не сумевшего с самого начала направить застолье в подобающее русло и все пустившего на самотек. А она так старалась, официанток пригласила из ресторана, стол накрыла – глаза разбегаются, от вечера ожидала совсем другое, рассчитывала на светский блеск и сверк, на галантные обхождения, на изысканные комплименты в ее адрес, хотя и знала, предчувствовала, что, когда соберутся закадычные друзья Бахыта вместе, то досужих разговоров о политике, об интригах во власти и потайных намерениях вряд ли избежать. Их хлебом не корми, дай только часами чесать языки о наболевшем, о том, без чего жить не могут. И при этом каждый непременно норовит продемонстрировать свою ученость, дальновидность и прозорливость. Все они подававшие надежды ученые, деятели, общественники, талантливые и целеустремленные, всплыли на волне распада Советского Союза и обретения национальной независимости на окраинах империи. Все получили хорошее образование

кто за рубежом, кто в российских университетах, все успешно делали карьеру – кто в политике, кто в бизнесе, кто в государственном управлении, все крутились-вертелись в высшем эшелоне власти, пока не возникли разногласия с Главным благодетелем, и то они приближались к власти, то дистанцировались от нее, то вновь к ней льнули, якшались с демократами, с либералами, иногда позволяли себе критические выпады, противоречили самим себе, шли на уступки, на компромиссы, путались, шарахались, меняли ориентации и партии, выбиваясь из той среды, в которую еще недавно так стремились. Зухра их политические колебания, шараханий, стремления и поиски на идеологической ниве никак не разделяла. Она любила определенность, ясность во всем, и политика и праздные высокие разговоры о ней ее не только не интересовали, а раздражали своей



бессмысленностью и вредным брожением умов. Она считала, что жизнь дана для наслаждения, для удовольствий и усад, и нечего ее усложнять и омрачать досужими разглагольствованиями. Кому это нужно? Какой смысл в этих мужских забавах? Вот Серж – молодец, он свою красивую голову подобной дребеденью не забивает. У него, подлеца, на уме другие страсти. Взялся сегодня дурить голову смазливой девчонке...

Мамбет Казиевич давно уже сладил с начальным волнением и теперь с любопытством наблюдал за гостями. Видно было, что еда и питье их почти не занимало. Эх, думал старик, усадить бы наших аулчан за этот стол. Вмиг все смели, умяли бы. И бутылки заморские, фигуристые, с яркими, кричащими наклейками наверняка тотчас опустошили бы, даже не смакуя. Не стали бы цедить-тянуть из рюмашек и бокалов, а глушили бы, не моргнув, стаканами с «прицепом», предпочитая всему белую огненную водицу. Чувствовалось, что и он, аульный старик, их меньше всего интересовал. Просто деликатность блюли, вежливость выказывали. А вот поговорить друг с другом явно хотелось, излить душу, высказать сомнения, открыться перед именным и, судя по всему влиятельным Соломоном, каждое слово которого жадно ловили. И тот, кажется, прекрасно сознавал, что являет собой важную птицу, что именно он в центре внимания, а вовсе не балаболка советник, которого пригласили по старому знакомству и как человека власти. К тому же, как догадывался старик, советник на всякий случай тоже прикупил себе – или кому-то из родственников – квартиру в этом же элитном доме. Видно было, что друзьям сына советник интереса не представлял, взор их был нацелен на Соломона, с ним хотелось поделиться сокровенным, на него рассчитывали в каких-то своих потайных намерениях. Особенно не терпелось что-то сказать шуплону, импульсивному Авелю и не по годам сдержанному, осторожному Сарсену. Бахыт помалкивал, прислушивался к направлению разговора, но явно что-то скрывал, будто опасался невзначай сказать лишнее. Мамбет Казиевич понимал, что его присутствие совсем не желательно, и Серж, и Лаура, и тем более Арыстан здесь очевидно лишние, разговор задуман мужской под видом застолья в честь приезда отца, и даже красотки Карлыгаш и Бигайша быстро сообщали, что отнюдь не они являются украшением сегодняшних посиделок. И, смекнув о том, вскоре уединились,



покуривая и о чем-то сплетничая на широченном кожаном диване в углу гостиной. Но основное блюдо – бесбармак с преподношением опаленной и сваренной бараньей головы ожидалось впереди, и между мужчинами – обрывками, фразами, намсками – налаживался, разгорался разговор, в суть которого старик пытался – иногда тщетно – вникнуть.

– Ну, хорошо, допустим, – горячился шуплый Авель. – Каждый, кто может, заведет свой собственный кабак, но это ведь еще не рынок. Это грабеж. И так у нас все продавно! Все в руках пришельцев. Они миллиардеры!

– Так уж и все, – усмехнулся советник, и чугунное лицо его еще более потемнело. – Повторяешь оппозиционный бред. И земля, и леса, и поля – все на месте. Никто никуда ничего не забрал.

– Ты это своему боссу говори. Ему это будет приятно слышать.

– Не горячись, – заметил Сарсен. – Здесь не трибуна, не митинг. И даже не «Дода» по 31-му каналу... Вопросы, однако, есть. На каких идеалах строить новую жизнь? Ведь надо куда-то двигаться. Не к средневековому же ханству! На старых заблуждениях и предрассудках, на замшелых демагогических рассказах, которые, как мы видим, неминуемо ведут к разложению и тупику, куда сунешься?

– И что это за политическое кредо: «Я дал вам свободу, теперь живите, как хотите?» За свободу боролись наши предки веками, никто никому в одночасье ее не дал. И разве можно народу говорить: «Выживай, как можешь. У нас рынок». Черт знает что!

– Это неправда, – вклинился Сарсен. – А всякая неправда – дрянь и гадость.

– Политический треп, – заметил Жан.

– Вопрос в том: в состоянии ли Власть защитить ресурсы страны? Или все уже пошло наперекосяк, по кривой дорожке? Нельзя все строить на временщицкой философии! Вообще кто или что, в самом деле, управляет государством? Инерция? Теневая экономика? Криминал? Олигархи? Абы как? Надо, чтобы народ это себе точно уяснил. А то куда плывем – смутно представляем.

– Не утрируйте! – сверкнул очками советник. – Вам ли о том рассуждать? Власть управляет страной прочно и надежно. А, значит, она и ресурсы страны защищает, и себя тоже.



– Себя – да, но до каких пор?

– А что вы хотите? Сумбур? Хаос? Это ваша демократия?! Не пойдет! Что это за власть, которая не в состоянии себя защитить? – Советник от возмущения даже передернулся. – Это априорно! Это диалектично! Власть не может себя добровольно обезоруживать перед встречными-поперечными авантюристами.

– Ну, и что дальше? Что из этого следует?

– Следует одно, – изрек Соломон. – Не надо торопиться. Не надо рваться в последний и решительный бой. Не время. Народ только приходит в себя, только-только познал вкус свободы и не надо его будоражить, звать на баррикады. Народ нуждается в мире и согласии.

Жигиты за столом переглянулись. В их глазах мелькнуло разочарование. Видно, они ожидали от Соломона совсем других слов.

– Конечно, конечно, – первым подал голос после паузы Сарсен. – Кто может возражать против мира и согласия? Но, ага, разговор ведь о другом. Сколько же можно катить государственную тележку по инерции, по изъезженной колее. Как наиболее эффективно мобилизовать государственные и кадровые ресурсы? Как влить новую кровь в управление? Как управлять государством, вставшем на путь демократии? Или, точнее, декларирующем народовластие. Ведь согласитесь, президент – не Посланник Божий. Он пенде. И ему не чужды человеческие слабости. Не так ли?

– Да, да, – не удержался Авель. – Работает ли механизм госуправления? Действуют ли все рычаги, шестерни? Или все увлеклись гольфом, теннисом, шахером-махером? Чиновничество обнаглело, вышло из-под контроля. Каждый аким и акимчик на местах – сам себе и хан, и бек, и би. И у президента нет сил и возможностей за всеми уследить. Незаметно он становится их рабом. И акимы смотрят на него не как на президента, а как на старшего чиновника, у которого и так голова кругом от забот.

– А партии для чего?! – ехидно ввернул советник.

– Е-е... будто ты не знаешь, для чего! Чем больше партий, тем лучше управлять толпой, сталкивая ее лбами. – Сарсен в сердцах скомкав, бросил салфетку на стол. – Есть ли у этих партий партийная ответственность, партийная дисциплина, партийная этика? Или все они сборище шустряков, чиновников, не отвечающих ни за что?

– По КПСС соскучился? – вклинился опять советник.



– При чем КПСС?! Партия должна быть партией. А у нас лишиться членства ровным счетом ничего не значит. Чуть что – запросто перемахнут, точно заяц в кусты, в другую партию. Эка невидаль!

– Внешне все о кей, – вступил в спор молчаливый Жан. – Есть видимость деятельности, даже какие-то проекты-проекты принимаются. И это нетрудно. А вот выделять деньги под эти проекты – вопрос. Их ведь тотчас разворуют. И все это видят. И президент знает. А противостоять не может. Ибо нет у него рычага контроля и наказания. Потому что сам бесконтролен и безнаказан. Коррумпированное чиновничество мигом все слопают. И верблюда с шерстью, и лошадь с поклажей. Не подавятся.

– Безответственность сверху донизу – самый страшный бич. И надо вырваться как-то из этого порочного круга.

– И кто должен начать процесс? Интеллигенция?

– Е-е-е... Когда национальная интеллигенция выполняла свою социальную функцию? Выродился зиялы кауым. В курицу превратился. Довольствуется тем, что патрон с барского стола смахнет. Кормится с его ладошки.

– Значит, – восторженно воскликнул Соломон. – По-вашему, что пужно?

– Политическая реформа! – выпалил Амель. – Кардинальная политическая реформа. Нужно менять режим, систему.

– Это опасно, жигиты. Заварите кашу – не расхлебаете. А общество жаждет тишину и покой.

– То есть, все пусть остается как есть?

– Пока да. Ну, может, заменить лишь кое-какие детали.

– Ф-фи, господа, уймись! – урезонила гостей Зухраханум. – Устроили тут дебаты. Смените, наконец, пластинку. Вот уже бесбармак подают.

По сигналу хозяйки белокурая официантка с белым передничком выше оголенных круглых колен внесла на широком подносе опаленную баранью голову и торжественно поставила перед Мамбетом Казиевичем. Смуглянка с насурьмленными бровями поднесла на тарелке большой нож и салфетку.

– Баракельде! – воскликнул Сарсен, довольный традиционным ритуалом.

Мамбет Казиевич подвернул рукава, степенно и уверенно принялся за обработку бараньей головы. Он решил, что разделывать и раздавать по обычаю части бараньей головы



– уши, язык, небо, глаза, щеку, затылок – этим важным гостеподам, воспитанным в иных традициях, пожалуй, неуместно, поэтому попросил дать чашу, куда, мелко-мелко накрошив, сложил все обрезки, потом умело вскрыл затылочное отверстие оголившегося бараньего черепа, вынул мозг, тщательно все перемешал в чаше, сделал мипалау и каждому гостю положил на тарелку по ложке мясного крошева.

– Рахмет, рахмет, рахмет, – умиленно произнесли все.

Мипалау из рук старейшины – высший знак внимания.

Посередке стола на двух глубоких подносах-табаках дымился-сочился бесбармак, горой возвышались вперемешку конина, говядина, баранина, казы, карта, жал, жая, золотом отливали пропитанные жирным бульоном сочни.

– Ну аксакал, скажите речь перед главным блюдом. – предложил Соломон.

Мамбет Казиевич тщательно вытер руки полотенцем, отодвинул нож, оглядел всех за столом.

– Айналайн мои дети! Дорогие гости! Слава и гордость народа! Благодарю всех за внимание ко мне и за честь, что нахожусь с вами за одним щедрым, благодатным дастарханом. Там, в ауле, я разве мечтал о том, что я, простой аульный мугаллим, буду восседать за одним столом с такими знатными азаматами и слушать ваши поучительные, полные забот о народе, о стране речи?! Благодарю вас и благословляю. Да сбудутся все ваши высокие помыслы, желания и стремления. Пусть успех и удача сопутствуют вам повсюду!

– Аминь! Аминь! – дружно откликнулись гости.

– Не стану утомлять вас стариковскими назиданиями, – продолжил Мамбет Казиевич. – А вот одну притчу расскажу. Я ее вспомнил, слушая вашу беседу. Не знаю только, в тему ли... Так вот в стародавние времена жил-был, оказывается, один хан. Он до-о-ол-го сидел на троне. И при нем царили мир и спокойствие. И никто особенно в его ханстве не роптал. Но вечно жить, кроме Иблиса, никому еще не удавалось. Пришел положенный срок, и хан отошел в мир иной.

Все за столом превратились в слух. Так, так, так, что же дальше? Аульный мугаллим умел рассказывать неторопливо, увлеченно, с паузами, взвешивая каждое слово.

– И на ханский трон сел его сын. И правил он народом точь-в-точь как отец. Что-то, однако, не ладилось. Недовольство в народе росло. Многие начали зариться на его трон. В чем дело? Как быть?



– Хм-м... любопытная ситуация, – заметил Авель.

– Знакомо, – подтвердил Соломон.

– Пригласил молодой хан самого старого и мудрого визиря. «Скажи, визирь, почему так? Почему народ ропшет? Что нужно делать?» Визирь подумал и сказал: «Издай указ, повелитель. Пусть отныне все мужское население займется торговлей. В обязательном порядке».

– Интересно... Бизнесом, значит, – опять не утерпел Авель.

– Видно, визирь был мудрее нашего Есмахана, – ухмыльнулся Жан.

– «Ну, и что это даст?» – удивился молодой хан. «Увидите», – ответил визирь. Ну, и издал хан указ. С сегодняшнего дня, мол, пусть все занимаются торговлей. Занеют свое дело. Пусть вся страна превратится в сплошной базар. И пусть все – и стар, и млад – торгуют. И все помыслы отныне будут о выгоде.

– Все, значит, тенге считают.

– Да, все заняты, все торгуют-мухлюют, и никто о политике не думает. Никому ничей трон не нужен. Даже ханский. И никто не ропшет. И крамольных речей не говорит...

Мамбет Казиевич умолк, хитро прищурился, потерял бородку.

– Все? – полюбопытствовал Авель.

– Все, – сокрушенно сказал старик.

– А мораль?

– Не знаю... Такая притча.

– Молодец, старина! – забасил Соломон. – Вот и ответ на все ваши речи, жигиты. Какая еще мораль? Заниматься надо своим делом и не зариться на ханский трон. Трон один, на всех не хватит.

– А мораль, скажу вам, в том, – улыбнулась напряженно Зухра Ганиевна, – что бесбармак остывает. Его надо съесть. А потом до чая объявляю небольшой перекур.

От бесбармака все пришли в восторг, поахали, повздыхали, но ели чуть-чуть, не по-аульному, костей обглаживать никто не стал, а от сурпы-бульона и вовсе все отказались. «Апырай, что это с казахами стало? – удивился про себя Мамбет Казиевич – Мясо есть разучились! Салат едят, траву жуют. Жирные куски не глотают, от жал-жая носы воротят. Вот и ходят все дохлые. Перевелись едоки. Соевую сосиску за еду принимают...»

Едва Мамбет Казиевич пробормотал благодарственную молитву на казахский лад, гости разом встали, разошлись-



разбрелись по балконам, коридору, кабинету, прильнули к своим мобильникам, начали кому-то отдавать разные распоряжения. Арыстан давно уже куда-то исчез. А Лаура ринулась к себе в комнату, за ней блудливо поплелся Серж, избегая ехидных взглядов Карлыгаш и Бигайши. Зухра-ханум на ходу остановила дочь.

– Ты была сегодня в университете? – спросила с укором.

– Зачем? – повела плечиками дочь.

– Как зачем? А экзамен?

– Сто баксов в зачетку – и весь экзамен.

– Что-о? Такие у вас порядки?

– Везде такие! Староста собирает дань – и вся недолга. Хоть зачет, хоть экзамены. Все тип-топ. Иной препод, сидя в машине, зачет принимает. И никто ему не указ.

– Господи, неужели эта зараза и до вузов дошла?

– Во дает! Ты что, мамуля, с неба свалилась? В вузах давно уже такса твердая.

Серж расхохотался и исчез с юнницей за дверью.

Зухра Ганиевна заметалась по коридору, по залу, по балконам, все более раздражаясь. Официантки проворно убрали со стола, зашмыгали между гостиной и кухней, сверкая тугими бедрами, готовя дастархан к чаю.

Мамбет Казиевич тоже засеменил к себе и столкнулся по пути возле кухни с сыном и снохой. Холеное лицо Зухры покрылось пятнами, глаза гневно сверкали.

– Все из-за тебя, из-за тебя! – шипела сноха. – Ты виноват! Ты, ты! Устроил тут балаган...

– А что, собственно, стряслось? – тихо оправдывался Бахыт. – Ведь все в порядке.

– В порядке! Ты, ты виноват!

– Ну, конечно, я... кто еще?!

Зухра задыхнулась от возмущения. Мамбет Казиевич, не поняв, что же произошло между супругами, сгорбил и поспешно убрался восвояси. «О, Аллах! Неужели я что-то испортил? Неужели сказал что-то некстати?»

Он слышал в своей комнате, как гости в разных углах наперебой говорили по мобильникам, потом недолго пили чай и один за другим начали расходиться, благодаря супругов за гостеприимство и щедродушие, за редкую возможность поговорить по душам. Уходили не все вместе, а поодиночке, оглядываясь, словно прячась от кого-то.

Мамбета Казиевича к чаю пригласить забыли.



Глава десятая

Начался второй месяц зимы, а снега все не было. Так, чуть выбелил, припорошил газоны. Старику трудно дышалось. Слякоть, месиво на тротуарах, затянувшаяся пасмурь, густой смог над городом приводили в уныние. В сизом утреннем тумане не просматривались даже горы. Хилое солнце не в состоянии было пробить толщу туч, волочивших обвисшее подбрюшье по холмистому предгорью.

Мамбет Казиевич по давней привычке вставал рано и, стараясь не шуметь, облагался в толстый чапан из верблюжьей шерсти, натягивал ватные штаны, теплые байпаки, нахлобучивал на голову лисий треух и подолгу ходил взад-вперед по длинному балкону и натужно покашливал, вытирая огромным платком слезящиеся глаза.

– О, бабай на Шпицбергене, – язвил Арыстан, глядя на деда. – Прохожих испугаете. Подумают: оленевод вышел из тундры.

Старику было не до шуточек языкастого внука. Тому лишь над кем-нибудь подтрунивать да ошарашивать заумными словечками.

Мамбету Казиевичу вспомнился зимний аул на берегу озера, заснеженная степь, причудливые сугробы возле домов, звенящий сухой воздух, бодривший душу, сладковатый дух сена на морозе, клубящийся из коровника пар, прямой дымок из печных труб, темная тропинка к колодцу, хрустящая наледь возле водопойной колоды, резкий стрекот чутких сорок у помойки. Ай, какая благодать! Пройтись бы сейчас по аулу по утреннему морозцу, вслушаться в скрип снега под ногами, отзывающийся эхом в замерзшем в спячке лесочке, полюбоваться на искристую снежную насыпь на деревьях и кустах, подышать всей грудью, испытывая разливающуюся по жилам бодрость.

О-о... а потом прогуляться бы вдоль замерзшего озера мимо уснувшей одинокой туранги, завернуть бы к усадьбе тамыра Карла, покалякать бы с ним о том, о сем на просторной веранде да потягивать из крохотной фарфоровой чашки его целебный чай, настоящий на семи травах, которыми Карл запасался впрок с леса, – душица, мята, зверобой, шиповник, солодковый корень и бог весть что еще. Пьешь, бывало, его чудодейственный чай-настой, прислушаешься к блаженству, разливающемуся по телу, и проникнешься легким и высоким смыслом бытия.



Ах, какое же славное было время! Было, было, а мы его и не оценили. Да, и где теперь Карл-дос, как ему живется в далеком фатерланде... небось, и ему вспоминается аул возле озера, и, может, даже о нем, друге Мамбете, тоже вспоминает в это время...

Там, в ауле, все было иначе: зима так зима, лето так лето. А здесь что? Слякоть, хмурь, сырь. Под ногами чавкает. Грудь заложило – не прокашляться. Кости ноют. На ногах точно кандалы, на глазах – будто шоры. Куда это годится? Посреди зимы моросит дождь, а грязные отметки снега пахнут удушливой копотью.

Скрипнула балконная дверь. Выглянул Бахыт – уже побритый, одетый, собранный. Росточка небольшого, а голова крупная, лоб высокий, обнаженный. Волосы поределли, а все курчавятся, и виски уже подернуты солью. Глаза вечно напряженные, озабоченные, и весь какой-то зажатый, настороженный. Ходит легко, пружинисто, а все равно кажется, будто непосильный груз давит на плечи.

– Что, коке, не совсем хорошо?

– Да нет, балам, шукир... жаловаться грешно.

– А почему такой вялый, кислый? Плохо спишь?

– Да погода немного не по мне. Не могу привыкнуть к сырости.

– Об ауле наверное, тоскуешь?

– Не тоскую, но вспоминаю.

Бахыт посмотрел вниз, потом туда, где должны были быть горы, потом – на еле видневшуюся вдаль корону многоэтажной гостиницы, на серую мусть, стекавшую с крыш, зевнул, поморщился.

– Мизерабельная погодка... Бр-р... Смотри: продует.

Потом, перед отъездом в свой офис, Бахыт еще раз обратился к отцу.

– Коке, значит, так. После школы Арыстан с Рихардом отвезут тебя на дачу. Во-первых, осмотришься, а во-вторых, поразвеешься. Там и воздух другой, и снег чистый. Вздоришься.

– Ладно, балам. Только Арыстану, наверное, недосуг?

– Ничего. Уже договорились. Хватит ему за компьютером торчать. Пусть немного на лыжах покатается.

Что у сына есть дача, Мамбет Казиевич был наслышан. Догадывался из разговоров, что она находится высоко в горах. Кто-то, видно, за ней постоянно присматривал. В конце недели Рихард привозил с дачи отборные фрукты,



и Мамбет Казисвич смекнул, что там, в горах, яблоки, груши, сливы, даже ягоды заметно отличались по размеру и вкусу от тех, что продавались на базаре или в ларьках поблизости. Знал старик также, что дача особенно облюбовала Лаура и при этом ехала туда не одна, а со своей компанией девиц и жигитов. Чаше всего ездили они туда на субботу и воскресенье, загрузив багажник «Магды» минералкой, соками, пивом, вином и всякой закусью. И каждый раз говорили про какого-то Аслана, который к их приезду «соображал» на мангале отменный шашлык – пальчики оближешь. Заметил еще старик, как Лаура всякий раз наказывала родителям:

– Сегодня, любезные, я побуду с друзьями на даче. Сессия на носу. Прошу не мешать. Может, даже там заночуем.

– Только без оргий! – предупреждала Зухра Ганиевна.

– Ф-фи, мама! О чем ты только думаешь!

Прошло столько месяцев, а Мамбета Казиевича на дачу никто из домочадцев не приглашал. Знал он также, что к концу рабочего дня на часок-другой заезжала на дачу сноха. А вот сын, кажется, там редко показывался. Старику почудилось, что Лаура и сноха не очень-то и хотели, чтобы он там бывал. И Арыстан о даче почти не заикался. Только однажды провел там с ватагой одноклассников свой день рождения.

– Чтобы в последний раз! – строго выговаривала на другой день Лаура. – Насвинячили там, шаромыги!

О поездке на дачу Мамбет Казиевич помышлял давно. Неизвестное всегда манит. И едва дождавшись внука из школы, он ему напомнил:

– Арыстанчик, ты не забыл? Позвони Рихарду. Мы ведь сегодня собирались на дачу. Папа сказал.

– Помню, помню, эксцеленз, – откликнулся внук.

Рихард подкатил после обеденного перерыва. Просигналил у подъезда и по обыкновению принялся пыль сдувать с и без того сверкающего «Ланд круизера», бока его щеткой оглаживать да тряпкой до глянца надраивать.

Ехали молча. Строгий, худощавый, рыжеватый Рихард сидел за рулем, точно падишах на троне, внимательно смотрел на дорогу, все круче взбирающуюся вверх и по мере подъема все более суживающуюся. Мимо плыли дворцы, громоздились высотные здания, гостиницы, маркеты, какие-то спортивные комплексы, потом пошли коттеджи, виллы за кирпичными и железобетонными забора-



ми, а «Ланд Круизер» неслышно и плавно катил все вверх и вверх к ущелью гор. У Мамбета Казиевича заложило уши. Рихард включил музыку. Виртуоз-домбрист самозабвенно исполнял знакомый кюй.

– Уай, Таттимбет, – встрепенулся Мамбет Казиевич. – Чуть добавь звуку, Рихард айналайн.

– Переключи, – хмуро брякнул Арыстан с заднего сидения.

– Е, не болып калды? – Старик повернулся к внуку.

– Обрыдли эти кюи-мюи! Китч! Примитив!

– Вот-те раз! Ты же казах!

– Если и казах, то не национал-патриот. Мне это гнусное брэнчание надоело. Я евроазиат, если хотите знать!

– А я не евроазиат?

– Вы почтенный Маке, обеими ногами по самым голешицам завязли в болоте феодализма! – с апломбом заявил внук.

– Е, солай де, – миролюбиво согласился дед.

Рихард, усмехнувшись, повернул рычажок радио. Под барабанный бой и ритмические гитарные аккорды кто-то хриплым, натуженным голосом заорал на картавом, заморском языке.

– О самое то! – воскликнул Арыстан. – Клево! Обалденно!

– Не дейды?! – возмутился Мамбет Казиевич, однако спорить с внуком расхотел.

Арыстан принялся ерзать в такт какофонии, елозить на заднем сидении, вскидывать руки, трясти кистями и судорожно корчить рожи.

– Рихард, я все забываю спросить: ты откуда родом-то будешь?

– Я? – откликнулся Рихард. – Родом казахстанец. Но не шапырашты. И даже не албан.

– А кто?

– Из атыгайских немцев.

– О, выходит, мы соседи.

– Получается так.

Говорил Рихард по-казахски безукоризненно чисто. И Мамбет Казиевич охотно с ним общался и заметил, что при Рихарде казахи как бы испытывают неловкость. Слушали охотно, но беседовать с ним на материнском языке робели.

Старик вспомнил, как Бахыт однажды полушутя заметил, что Рихард только притворяется немцем, а на самом



деле он, мол, настоящий казах. Как-то за дастарханом надо было по обычаю произнести благодарственную молитву, и никто из казахов не отважился на это. Тогда, извинившись, Рихард на певучем арабском языке складно и торжественно сотворил молитву, после чего мусульманам только и осталось хором произнести «Ауминь!» и благоговейно оглашать ладонями лица.

– Родители есть?

– Мать умерла. Отец в Германии у сестры.

– А ты почему не в Германии?

Рихард ответил не сразу.

– Е-е, кария, долгий разговор. Не успею рассказать. Уже подъезжаем.

– Но в Германии был? Отца навещал?

– Был. Навещал, – подтвердил Рихард.

«Немногословный, однако, малый, – отметил про себя старик. – Себе на уме. Привык язык держать за зубами».

От Арыстана и Лауры старик узнал, что Рихард давно при Бахыте. Как познакомились – никто не знал. Арыстан помнил дядю Рихарда с малых лет. Называл его поначалу «Ри-ри» и искренне полагал, что этот молчаливый, спокойный, стройный дядя – член их семьи. Своенравный с детства Арыстан слушался Рихарда больше родителей. После армии Рихард служил в МВД, ходил в капитанах. Потом уволился, пошел в частный сыск, работал где-то охранником, вышел со временем на Бахыта, когда тот еще работал в банке. Исполнительный, вышколенный, надежный немец, способный своими казахскими манерами, учтивостью и знанием языка ошарашить и обаять любого казаха, пришелся Бахыту сразу по душе. Он был и классным водителем, и надежным телохранителем, не краснобайствовал попусту и угадывал без лишних слов желания и настроение шефа без какой-либо угодливости.

– Ну, и как в Германии? – любопытствовал Мамбет Казиевич.

– В гостях – хорошо. А постоянно жить – скучно.

– Что так?

– Все обустроено, решено, разложено по полочкам, выпiano в строгий неукоснительный порядок. Ты щепка. Никто никому не нужен. Во всем мелочный расчет. Все регламентировано: кому что пить, есть, одевать, куда ходить, сколько, зачем и почему. Человек – машина. Может кому-то это и нравится, а мне не по душе.



– Здесь лучше?

– Как сказать... В чем-то, может, лучше. Там демократия, закон, порядок. У нас – воля, стихия, раскованность.

– И шахер-махер?

– И шахер-махер, уфит-суфит, ахалай-махалай, – согласился Рихард.

– Интересно...

– Да, так, кария. Закон, порядок – хорошо. Но когда человек становится роботом – плохо... А вот и приехали!

Двухэтажная вилла, обшитая гранитными плитами, с колоннами и парадным входом стояла за пирамидальными тополями и ажурным железным забором. Мамбет Казиевич, выбравшись из запыхавшегося после затяжного крутого подъема «Ланд круизера», застыл в изумлении. Горный воздух ширил грудь и кружил голову. Снежные пики гор казались рядом. Рослый, грузноватый, горбоносый мужчина в спортивной кепочке, синем халате поверх грубой вязки свитера, в высоких армейских ботинках сосредоточенно подметал и без того чистый двор. От тишины звенело в ушах.

– Это и есть дача? – обескуражено спросил старик.

Он полагал, что дача – это ветхий домик в саду, фруктовые деревья, кустарники по краям ограды, грядки, бочки с водой, длинный шланг для полива, скамейка у входа, сарайчики, закутки. А здесь...

– Это же дворец! Клуб! Сюда можно поместить весь аул. Ханская усадьба!

Вилла напоминала беркута, усевшегося на скалу и раскинувшего крылья перед взлетом. Отсюда, как на ладони, просматривался город, окутанный густым смогом. Внизу виднелась телевизионная башня на холме. Туча волочила отяжелевшее брюхо по ущельям. Неподалеку виднелись очертания таких же вилл.

– Ну, располагайтесь, отдыхайте, – сказал Рихард. – После восьми заеду за вами.

И «Ланд круизер», едва переводя дыхание, покатился по асфальтной дорожке вниз.

Горбоносый, бородатый, смуглый верзила, держа в левой руке метлу, учтиво протянул правую Мамбету Казиевичу, гортанно произнес:

– Ассалаумагалекум!

И старик догадался: видно, из кавказского племени.

Вилла ошеломила Мамбета Казиевича. Такая ухоженная, внушительная и одновременно изящно-миниатюрная

на фоне громоздящихся суровых скал. Одно настораживало: безлюдье, выморочная тишина, обособленность. Даже вороны на верхушках тополей сидели нахохлившись и не оглашали окрестность карканьем. И огромный лохматый волкодав на цепи будто онемел. От виллы веяло одиночеством и потерянностью.

В стороне у самой ограды темнел КамАЗ со специально оборудованной будкой.

– Это что за кибитка на колесах? – спросил Мамбет Казиевич.

– Х-ха... кибитка, – усмехнулся Арыстан. – Это кунг.

– Кунг?

– Ну, домик на колесах. В нем папа с друзьями на охоту ездит. Удобно, тепло. Где хочешь, там и ставишь.

– Апырай, а?!

– Ну, пойдите, почтенный Мамбет Казиевич, – сказал Арыстан в своей обычной ернической манере. – Мне ведь поручено быть вашим гидом волшебного замка графа Адиллова Мамбет-оглы Бахыт-бея.

Осмотр начали с первого этажа. Мягкая ковровая дорожка скрадывала шаги. По обе стороны коридора тянулись дубовые с узорами двери, как в гостинице. В затейливых пишах возле окон стояли на мраморных тумбах кадки с кактусами. На стенах висели аляповатые картины с нагромождением каких-то квадратов, кубиков, символов, модельных закорючек, от которых рябило в глазах. Арыстан шел впереди и небрежно разводил руками по сторонам:

– Галерея... Спальня... Еще спальня... Тоже спальня... Гостиная... Душ... Дамская комната... Мужской туалет... Комната для отдыха...

– Апырай, тут же не мудрено заблудиться! – поражался Мамбет Казиевич.

– Диванная... Кабинет... Вот здесь поднимаемся на второй этаж. Извините, лифта нет.

На втором этаже дверей оказалось меньше, зато помещения просторнее.

– Банкетный зал, – равнодушно продолжал Арыстан.

– Ойбай, здесь же на лошади скакать можно!

– Можно, – согласился Арыстан, – если лошадь – пони.

Старик насчитал около сорока мягких стульев с высокими резными спинками, похожих на царский трон, плотно обступивших непомерно огромный, овальной формы, от-



полированный стол, на котором в разных местах возвышались диковинные вазы. Вдоль стен стояли кожаные диваны и диванчики, массивные кресла, круглые столики, шкафы, серванты, горки, заставленные дорогими сервизами, бокалами, рюмками, бутылками причудливой формы. На краю одного серванта горкой возвышались льняные салфетки и пушистые полотенца. Окна на всю стену были наполовину задернуты толстыми цветными шторами, огромными складками свисавшими с потолка до паркетного пола.

– Е-е... – ошарашенно потеревил бородку Мамбет Казиевич. – Со-о-о-лааай де...

– А вот здесь бильярдная. – продолжал Арыстан, распахнув следующую двустворчатую дверь.

– О, какие красивые палки, – воскликнул старик.

– Эти палки, о почтенный Хоттабыч, называются киями. А вот эти кругляшки – шары, – пояснил, кривляясь, Арыстан. – Здесь господа хорошие играют в бильярд и отдыхают на диванчиках. В эмпиреях витают. Ну, бывает, пивком балуются, покуривают. тары-бары ведут. Усекли?

– Усек, айналайн. А по-нормальному говорить не можешь?

– Нормальный – это какой?.. Ладно, дальше пошли. Еще кабинетик... Комната отдыха... Туалет. Буфет. Бар.

– А библиотеки нет? – недоумевал старик.

Ему давно казалось странным, что книг у сына с келин и в городской квартире не густо. И здесь он увидел лишь там-сям разбросанные глянцевые журналы.

– Книги? А зачем они? Нонсенс! Анахронизм! – завелся Арыстан. – Все, что вашей просвещенной душе нужно, можно найти в компьютере, в интернете. Сиди себе у монитора и читай, пока глаза на лоб не полезут. Скоро бумажных книг, любезный мугаллим Мамбет Казиевич, и вовсе не будет.

– Как это?

– А просто... Будут электронные версии. На одном диске 600 книг. Представляете? Четыре диска – и вся библиотека.

– Странно... Не понимаю, – пробормотал Мамбет Казиевич.

– О да, конно-кочевая цивилизация осталась позади. Другие времена – другие песни.

– О, алла... откуда ты все знаешь?

– Хм-м... Знаю, а потому и говорю... Теперь, мой славный предок, спустимся в полуподвальный этаж.



– А там что?

– Увидите.

По крутым ступенькам в углу коридора спустились вниз. Приглушенно горел дневной свет. Было тихо, тепло. Откуда-то просачивался пар. Воздух был влажен.

– Сауна... – вновь завелся юный гид. – Отрада бrenного тела. Турецкая банька... Комната для прислуги... Кладовая... Автономное отопление.

Подшли к железным дверям, к которым вел невысокий приступок. Донесся глухой плеск воды. Потом с паузами послышался приглушенный игривый женский смех и раскатистый рык мужчины. Арыстан остановился у двери, настороженно прислушался, но стало вдруг тихо, только вода журчала поблизости.

– Вроде кто-то здесь есть, – растерянно произнес Арыстан. – Неужели Лаура?

Он осторожно раздвинул железную, в подтеках дверь, и дед с внуком неслышно вступили в просторное сумрачное помещение под высоким сводом. У кромки бассейна на столике стояли две початые бутылки пива, два фужера и беленький, миниатюрный сладко воркующий транзистор. На шезлонгах валялись два мохнатых банных халата. Возле ступеньки с поручнями, уходящими в воду, виднелись две пары пляжных тапочек. А в бассейне размашисто плавала женщина в ярко красной резиновой шапочке, взбивая, вспенивая руками и ногами голубую воду, дразняще мелькая ослепительно белым бикини. Мамбету Казиевичу на миг почудилось, будто в волнах резвится крупная белая рыба, сверкая разными частями упругого тела. За женщиной плыл-гонялся, подныривая, черноволосый детина, норовя схватить ее за ноги. И старику опять померещилось, будто пестрый красавец-окунь норовил схватить, поймать, проглотить изящную, белую, беззащитную рыбку. Видно, игра их так увлекла, что они ничего вокруг не замечали. Купальщица лишь временами дребезгливо смеялась, дразнила, манила, а мужчина рычал, грозился, ярился, ухал, гудел, словно забавлялся, наслаждался перед тем, как схватить, подмять вожаденную добычу.

Дед и внук, захваченные упоенным ристалищем в бассейне, застыли, как вкопанные. Самозабвенная погоня-игра мужчины и женщины в взбаламученной кипени воды завораживала. Над водой мелькали белые руки, полные соблазна круглые женские ноги. Чернявый верзила, то ны-



ря, то всплывая, сильно загребая могучими ручищами, все пытался настичь желанную жертву, сграбастать, утянуть ее под себя, но женщина ртутью скользила под водяными брызгами, вздымая волну, изгибалась, изворачивалась, выказывая то спину, то бок, то впалый живот, то тугие молодые чресла, то напряженные полные груди.

Первым опомнился Арыстан.

– Какая мерзость! – точно простонал он и, закрыв ладонями лицо, бросился к выходу.

И только тут Мамбет Казиевич узнал в белой рыбке в голубом бассейне свою невестку. А полосатым, туготелым окунем, неистово гонявшимся за ней, оказался Серж.

Старика будто дубиной шарахнули по темени. Невестка вдруг утомилась, встала, высоко вскинув руки, словно сдавалась в плен, отчего груди ее напружинились вызывающе маняще, потом закинула голову, подставляя губы, счастливо вскрикнула-застонала, и было в ее стоне что-то нечистое, порочное. Серж, утесом возвышаясь над ней, сграбастал ее в свои объятия, прижал к себе, стиснул, жадно зашарил ручищами по ее телу.

– Астафыралла! – вырвалось у Мамбета Казиевича.

Он, наконец, опомнился, вышел из оцепенения, направился к выходу, громко хлопнул железной дверью и услышал за собой испуганный вскрик:

– Ой! Тут кто-то есть!.. Господи!..

...Час спустя, обшарив все углы усадьбы, горбоносый, бородатый Аслан нашел Арыстана в угловой беседке в саду. Юнец был бледен и взвинчен. Сжавшись в комок, обхватив обеими руками живот, он раскачивался, как подранок, плевал под ноги, бессмысленно рычал:

– Альфонс! Мразь! Кобель! Бугай! Убью... убью... твою мать!..

Аслан приволок, точно щенка, враз осунувшегося, скукожившегося парня в свой закуток, отпаивал чаем и каким-то травяным настоем, что-то бормотал на непонятном языке, трепал за плечи, мягко внушал:

– Делай, что хочешь, жигит! Только травку не кури. Последнее дэло... Поганое дэло. Наркоман будэшь – дурак будэшь. Пропал. Понял?!

Старик был так растерян, что только качал головой, дергал бородку и бессвязно бормотал:

– Ой, алла-ай! Что творится на свете?!..



Рихард приехал вовремя. Дед и внук, не глядя друг на друга, всю дорогу молчали.

Рихард допытывался:

– Ну как отдых? Или не очень?

Ему не ответили. И Рихард не стал докучать им расспросами.

Глава одиннадцатая

Многое в семье сына показалось Мамбету Казиевичу странным. Он совсем по-другому представлял семейные отношения. К постоянному ёрничанью, зубоскальству внука старик вскоре привык, поняв, что это подростковая бравада, оригинальничание, фрондерство. Парень смысленный, не по годам развитый, не оторвешь от компьютера, напичкан всякой всячиной, обыкновенное городское дитя, выросшее в каменных джунглях, но непременно добрый малый, весь на виду, а фронда со временем пройдет. Правда, его манера общения с делом иногда озадачивала, смущала. Но разговаривать с Арыстаном старику было сподручнее, чем с остальными членами семьи. Особенно обескураживала его Лаура. Отношения с ней не заладились с самого начала. В большой квартире она жила как бы особняком, замкнуто. И вела себя дерзко, вызывающе. словно в упор не замечала никого из домочадцев.

А девушка была броская, красивая. Стройная, гибкая, высокая. Рано оформившаяся. Рысьи, с холодными искринками глаза глядели исподлобья. Настороженная, загадочная усмешка змеилась на тонких губах. Непрístupная, строптивая, она походила на ошетинившуюся кошку. И ступала тихо, вкрадчиво, по-кошачьи, слегка виляя бедрами, точно гоп-модель на подиуме. Смеялась натужно, артистично, явно кому-то подражая. И вообще казалось, она не бывает сама собой, а постоянно играет какую-то роль. Слова не произносила, а как бы роняла через силу, цедила снисходительно, словно делая одолжение. И с матерью, похоже, состояла в давнем конфликте. Дочь и мать избегали друг друга, а при встрече только фыркали и шипели по-змеинному, будто были непримиримыми соперницами. На случайное замечание матери Лаура огрызалась так яростно и агрессивно, что Мамбету Казиевичу становилось не по себе. Мать и дочь и не разговаривали с собой по-людски, а обменивались постоянными колкостями, выпадами, будто сражались на рапирах.



Старик невольно робел перед Лаурой, не зная, как вести себя в ее присутствии. Она его просто третировала, лишь изредка бросала на него холодный, прищуренный, оценивающий взгляд и ни разу не называла его «ата» – «дедушка», как приличествовало, а при крайней необходимости – Мамбетом Казиевичем. Из ее комнаты, куда никому не позволялось сунуться, часто доносились иноязычные какофонические звуки со звериным рыком и с задушенной хрипотцой, от которых мурашки бегали по спине, иногда душераздирающей дурниной вскрикивала обуянная страсть Лаура, и тогда Мамбет Казиевич хватался за голову, затыкал уши и выскакивал на балкон. Однажды все же не удержался и мягко попрекнул внуку:

– Милая, а почему ты не слушаешь казахские кюн? Неужели тебе не надоел этот ор?

Лаура резко остановилась, сузила рысьи глаза, выставилась на него вприщур, верхняя губка капризно вздернулась и в голосе ее прозвучало такое презрение, такая гадливость, что старик зарекся когда-нибудь еще обращаться к ней со своими советами.

– Эт-то что еще такое?! С каких пор мамбеты будут меня учить? Может, мне еще «Тамашу» смотреть? Сами слушайте свои куи-мун, если угодно!

И, полоснув по опешившему старику испепеляющим взглядом, скрылась за резной дверью. Мамбет Казиевич, сжавшись, как от удара камчой, ретировался подобру-поздорову в свою комнату.

А Лаура назло непрошенному наставнику, во всю мощь поставила другую кассету с неистовыми воплями буги-вуги.

«Е-е... солай де! – по привычке, сам себя утешая, произнес Мамбет Казиевич. – Этой городской птахе палец в рот не клади».

Казалось, все вокруг были виноваты перед взбалмошной Лаурой. Мамбет Казиевич ни разу не слышал, чтобы она назвала Бахыта «аке» или «коке», или «папа». Вообще никак не называла его. При нем сжималась, презрительно складывала губки, будто невзначай разболелся зуб, а из рысьих глаз её сыпались ледяные искры. И Бахыт, чувствовалось, избегал ее, терпеливо сносил ее колкости, терпел ее вызывающее поведение. Мамбет Казиевич это удручало. Так распустить своенравную девчонку... Такое позволять ей!.. Черт знает что!... Особенно надменно держалась Лау-



ра с матерью, словно мстила за что-то, называла ее при всех «Мадам», «Шахиня», «шамаханская царица», «ханум», и Мамбету Казиевичу это и вовсе показалось нелепым.

С Арыстаном Лаура обращалась, как с мальчишкой на побегушках. При сталкивании в коридоре или на кухне норовила дать ему подзатыльник, шипела: «Эй, козел!», фыркала: «Опять путаешься под ногами. блин!», и братишка покорно сносил все ее колкости, лишь изредка огрызаясь: «Сама козлуха!»

Мамбет Казиевич – особенно в первое время – диву давался. Ощущение было такое, будто в этой семье все друг другу чужие, что каждый сам по себе и ничего их в этой огромной, богатой квартире не связывает.

Редко семья в полном составе собиралась за столом в просторной кухне. Решив, что все домочадцы страшно заняты, все живут в вечной спешке, в заботах и хлопотах, Мамбет Казиевич по аульной привычке вставал рано, долго возился в ванной комнате, стараясь не греметь, не шуметь, чтобы не разбудить кого-либо невзначай, побрившись и помывшись, отправлялся на кухню, ставил чай, доставал из холодильника продукты, накрывал стол, предвкушая неторопливую утреннюю трапезу с долгим чаепитием, обстоятельной беседой под утреннее бормотание радио и позвякивание ложек.

Какой там!

Первым врывается на кухню взлохмаченный, словно после тушения пожара, сын, сиплым спросонья или после вчерашнего банкета голосом безлико ронял:

– Ия, коке, как спалось?

И, не слушая ответа отца, озабоченно косился то на часы, то в окно – подъехал ли Рихард, помыл ли машину, торопливо съедал круто сваренное яйцо, маленький кусочек хлеба с черной икрой, выпивал на ходу чашечку кофе со сливками.

– Ну, бывай, коке! Не скучай!

Через полчаса он спускался по лифту вниз, выходил из подъезда, размахивая кожаным кейсом, навстречу ему бросался услужливый Рихард, принимая из рук шефа кейс, распакивал перед ним дверцу, и огромный, сверкающий вороним отливом «Ланд круизер», мягко колыхаясь, исчезал за углом элитного дома, вклиниваясь в поток машин по проспекту «Достык».

Мамбет Казиевич, вздохнув, отворачивался от окна, садился к столу, продолжая утреннюю трапезу в одиночестве.



Хотелось, конечно, старику поговорить о том, о сем, вспоминать аул, поделиться впечатлениями, узнать про дела вечно занятого Бахыта, спросить, какие думы его гложат, но сыну вечно было некогда. Старик видел: сын не принадлежит себе, он только полагал, что влияет на какие-то обстоятельства, на самом деле обстоятельства подмяли его, и он был послушным рабом этих самых обстоятельств. Утром по привычке сын задавал один и тот же вопрос: «Ну, коке, как спалось?», а вечером, возвращаясь поздно с каких-то совещаний, деловых встреч, пресс-конференций, банкетов, сразу проходил к себе в кабинет и до глубокой ночи висел на телефоне, и такой распорядок дня продолжался месяцами, годами. И Мамбет Казиевич, мельком косясь на постоянно озабоченного, уже лысеющего сына в больших, в золотой оправе очках, с седеющими висками, молчаливого и хмурого, про себя, бывало думал: «Апырай, это мой сын или чужой дядька? Что у него на уме? Что его заботит, тревожит? Неужели ему мало того, что имеет?»

Часто Бахыт выезжал в командировки, то в области, то в зарубежные страны, вел затяжные переговоры от крупного акционерного общества – то ли банка, то ли бог весть каких корпораций, ворочащих миллионами. Иногда на два-три дня отправлялся в степь на охоту с группой, таких же, как он, строгих, богато экипированных в иностранных шмотках-снаряжениях бывалых жигитов, называвших друг друга не именами, а кликухами на чужой манер – Майклом, Джоном, Бобом, Джорджем, хотя и были все из славного казахского племени.

Жизнь их была Мамбету Казиевичу совершенно недоступна.

Потом на кухню вступала, точнее, вливалась нарядная, напомаженная, надушенная, изысканно упакованная сноха, держа возле уха мобильник, и певучим, врасстяжку, голосом переговаривалась с кем-то на диковинной тарабарщине из русских, казахских, английских слов:

– Ия, ия, айналайн, мен ойлаймын, что Сауле Омаровна келгенше надо пошире открыть уиндовку и пылесоспен подиумды хорошенько тазалау керек. Я сейчас чилдренімді в школу отправить етем де каремен жедел приеду. Чао!

Сноху Мамбет Казиевич даже не пытался понимать. По отдельным обрывкам фраз он догадывался, что речь идет о салонах мод, конкурсах красоты, пошивочных мастерских, парфюмерии, магазинов со странными – нерусскими



и неказахскими – названиями. Старик предположил, что его «беленькая, как яичко» сноха, которую, по казахскому выражению, следует посадить на ладонь, обдуть и проглотить, как образец чистоты и смазливой красоты, заведовала большим и элитным хозяйством. И судя по всему, успешно и при этом цену себе знала.

Тараторя по мобильнику, сноха цепко осматривала стол, кухню, шкафы, заглядывала в холодильник, одновременно легким похлопыванием пальчиками свободной руки массажировала холечное, без единой морщинки личико, разглаживала бровки, приглушала радио, включала миниатюрный телевизор, а Мамбет Казиевич наливал ей в чашечку чай, придвигал ломтики поджаренного хлеба, вазочку с медом, приговаривал ласково:

– Шай іш, келінжан. Поешь что-нибудь, кызым!

Именно так – «келинжан», – «сношенька», «кызым» – «доченька» упорно называл он ее, хотя знал, что невестку это раздражало, она предпочитала, чтобы ее называли по имени-отчеству – Зухрой Ганиевной. Но так называть сноху старик никак не мог – язык не поворачивался.

Наконец, закончив очередной разговор, сноха мельком косясь в зеркало серванта и отпив глоток чаю, привычно пробежала пальчиками по кнопочкам мобильного.

– Ал-лө... Вильмочка, здравствуй! Я прошу тебя уделить нашей фатере немного больше внимания. В холодильниках-то, милочка, пусто. Ну, не совсем, конечно. Но казы осталось с гулькин нос. Да, и карта, жал-жая подкупить не мешает. А то нагрянут жигиты – на дастархане шаром покати. Да, да, съезди сегодня с Гошей в Иссык. Ибрагим-ака все организует.

Откусила ломтик поджаренного хлеба, пригубила чашку, вытерла салфеткой губы, снова пробежалась пальчиками по кнопочкам – тик-тик-тик-тик...

– Ал-лө... Оленька? Как хорошо, что ты на месте. Надо бы прибрать квартиру. Везде. И на балконах. Ну, ничего... – ничего... еще раз пройдешься. Договорились? О кей!

Дохрумтела хлебец, облизала ложечку с медом, допила чай.

– Ал-лө!... Гоша? Все в порядке? Машина заправлена? Молодец! Сегодня нам предстоит посетить пять-шесть объектов. А пробки, сам знаешь, жуткие. Вечером еще и на дачу заехать надо. Ладно. Через пятнадцать минут выйду.

Мамбет Казиевич, прислушиваясь к бесконечным телефонным разговорам снохи, все надеялся, что она, наконец,



и на него обратит внимание, о чем-нибудь спросит хотя бы вежливости ради, но Зухра Ганиевна будто его и не видела.

Старик слышал, как сноха процокала через длинный – хоть на стригунке скачи – коридор, потом хлопнула паружной дверью, вышла во двор, где дворники копошились с утра до вечера, у ограды вытянулся, точно милиционер, охранник, и, не глядя по сторонам, строгая и энергичная, спортивная и деловая, настоящая бизнес-вумэн, как она себя представляла незнакомым, решительно направилась к ослепительной «Тойоте».

Мамбет Казиевич, обтираясь махровым полотенцем, допивал шестую или седьмую пиалу крепкого, со сливками, чая. Он обожал чаевничать не торопясь, основательно, до седьмого пота и только тогда чувствовал себя здоровым и бодрым.

Потягиваясь и позевывая, вошла на кухню Лаура. Явно не выспавшись, взлохмаченная, помятая, будто черти всю ночь драли напролом, с опухшими веками, с мутными глазами, с кривой, как бы навсегда застывшей язвительно-брезгливой ухмылкой на губах.

– Ф-фи, блин! Опять опоздала на первую пару.

Скользнула рассеянным взглядом по столу, кончиками пальцев подцепила кружочек казы, морщась, пожевала, плеснула в бокал мандариновый сок, отпила глоточек, исподлобья глянула на Мамбета Казиевича.

– Хорошо вам. Ни забот, ни горя...

– А что, милая, у тебя забот и горя много?

– Во! – ребром ладошки рубанула Лаура по шее.

Мамбет Казиевич поспешно отвел глаза. На голые тела натянула юнница прозрачную коротенькую кофточку, под которой бугрились тугие грудки, четко обозначились сосцы. Синюшный пупок украшала не то серьга, не то какой-то камушек. Белые трусики обтянули, впиваясь, бугристую плоть, что, казалось, лопнут при первом же движении.

«Апырай, взрослая девка. Неужели самой не стыдно? Хоть бы халатиком прикрылась. Или меня за человека не считает?»

Лаура, чертыхаясь, долго набирала номер по мобильнику, наконец, дозвонилась, хриплым голосом спросила:

– Ну, что? Оклемался? Трещит башка с бодуна? Что ж ты придрался к этому придурку? Послал бы его к этой са-



мой матери. Нужен он тебе больно... Что? Да сдался он мне, козел, на фиг! Ладно... поговорим. На лекцию соби-
раться?.. Там и встретимся. Вечером?.. Да надоел мне этот
«Адмирал Нельсон». Бедлам! Шарага! Все обрыдло. Что-
нибудь сообразим. Куп мейлі!

Швырнула мобильник на подоконник, выглянула в
окно, выключила радио, допила сок в бокале.

– Чай пить не будешь, что ли? – робко поинтересовался
Мамбет Казиевич.

– Чай пусть бабаи гоняют, – отрезала, скривившись, Ла-
ура. – Им-то не хрена делать!

– Хм-м... отчего злишься?

– От того, что скучно. Понятно?

– А скучно почему? – допытывался старик.

– Почему, почему... По кочану!.. Любви не хватает. По-
нятно?

– Понятно, – поспешно согласился старик.

Лаура достала из-за навесного шкафчика пачку сигарет,
ловким щелчком выстрелила белохвостую сигарку, прику-
рила у газовой плиты, пустила струйку дыма в форточку.

Мамбет Казиевич опять невзначай покосился на нее.
Смуглые тугие ягодицы вздрагивали. На одной ягодице
притягательно темнело большое родимое пятно. На круг-
лых, гладких бедрах в лучах утреннего солнца золотились
волосики. «Ай, ай! В соку девка. Ее скорей бы замуж спла-
вить. От греха подальше...»

Зашвырнув недокуренную сигарету в форточку, Лаура
прошлендала к себе, вызываяюще сверкая оголенной попой.
Что-то не в духе была дева с утра и, видно, искала повод,
чтобы сорвать на ком-то зло.

Мамбет Казиевич продолжал пить чай, досадуя, что ни-
как не может вспотеть. Даже лоб не покрылся испариной.
А это значит, что он весь день будет скованный, квелый.
Включил было радио. Диктор, захлебываясь, говорил о не-
бывалых достижениях в макроэкономике, о мощной госу-
дарственной помощи на восстановление аула, о том, что в
какой-то области завершено строительство моста и Елбасы
в торжественной обстановке перерезал ленту.

«Е-е... дұрыс екен... Лишь бы тишь да благоулучие не
покидали родной край, благословенный предками»...

Услышав знакомое урчание машины, Мамбет Казиевич
выглянул в окно и увидел, как розовая «Мазда» резко рва-
нула с места. Это Лаура покатила на свои занятия. Учи-



лась она на менеджера в каком-то частном университете со странным и длинным названием.

Внука Арыстана к завтраку старик так и не дождался. Видно, он незаметно выскользнул из дому, таща за спиной огромный, в сплошных кармашках и застежках заморский ранец, набитый всякой всячиной.

Парень рос сам по себе, особняком, вольно. Казалось, никто им не интересовался – ни отец, ни мать. В своей комнате, заставленной и заваленной в жутком беспорядке, он чувствовал себя, как рыба в воде. То заряжал на всю катушку свой истерзанный «маг», то часами забавлялся с компьютером, то что-то выкрикивал, то хихикал, то гремел какими-то железками, изображал из себя супермена, то яростно колотил боксерскую грушу, то сражался на шпагах с неведомым врагом. Потом резвился с друзьями, подолгу балабонил по мобильнику. Когда он готовил уроки и готовил ли их вообще – никто не ведал. Учился Арыстан в колледже для особо одаренных детей. В чем выражалась его одаренность, да еще особая, Мамбет Казиевич так и не понял. Поначалу он раза два напросился помочь внуку, заглянул в его тетрадки и дневник, но внук выказал полное пренебрежение к советам дедушки. Более того, заговорил с ним снисходительно, заносчиво.

– Вы, Мамбет Казиевич, всю жизнь учили аульных дурачков в начальных классах, да?

– Да.

– А я ведь учусь в седьмом классе городского колледжа, да?

– Да.

– Ну, так вот...

– Что, «так вот»?

– Так вот, чему вы собираетесь меня учить?

– Хм-м... Ну, хотя бы вежливости, аккуратности, уважению к старшим.

– И все?

– А что, мало?

– Вот блин! Достали вы меня, ваше высочество! Заколебали совсем своими нравоучениями.

– Слушай, а почему ты так меня называешь?

– Как?

– Мамбет Казиевич. И по всякому.

– А вы разве не Мамбет... э-э... Казиевич?

– Для тебя я «ата», вот так и называй.



– «Атан» – знаю, «отан» – знаю, «аттан» – знаю, а «ата» что такое?

– Ата – это дедушка.

– «Дедушка». Скажете тоже! И мама, и Лаура вас дедушкой не называют. Почему же я должен говорить «ата»?

– Так принято.

– Кем принято? Может, мне называть вас еще «коке», как папа?

– Для папы твоего я, конечно, коке. А для тебя – ата.

– Вот еще! Аташка, апашка, ажешка, агашка – попугайские слова! Псевдо-калбитский язык.

Разговор с внуком пошел наперекосяк с самого начала. Шибко умный, щеголявший набором заемных слов задир-внук, казалось, изощренно издевался над дедом. Упорно продолжал называть его Мамбетом Казиевичем. При этом между «Мамбетом» и «Казиевичем» делал нарочитую паузу, оттеняя, подчеркивая имя. Во всем демонстрировал свое преимущество, передразнивал казахский акцент деда: «об-шым», «шай-пай пьем», «дебка инстет пашел». То и дело заговаривал по-английски, болботал что-то несуразное, непонятное – «трансцендентальная апперцепция», «априорирует к филиациям», «дискриминация», «дискредитация».

– Айналайн, говори понятнее, – умолял дед.

– Ну, куда еще примитивнее?! – ерничал внук.

Иногда он силком усаживал старика к компьютеру, как бы невзначай просил подключиться к интернету, перейти на спортивные или эротические сайты. А то подкидывал какую-нибудь заковыристую задачку по математике, и, видя беспомощность дедушки, картинно разводил руками и вздыхал:

– Эх, невежество аульное! Эх, темнота! Ах, Мамбет... Мамбет... Ка-ка-казиевич! И чему вы только детей учили целых сорок лет?!

– Не сорок, а пятьдесят два, – сдерживаясь, поправлял дед внука.

– Тем более! – презрительно выпячивал внук губу. – Пятьдесят два года долдонили, что дважды два четыре.

Но по казахскому языку Арыстан безнадежно плавал. Ему совершенно не давались казахские звуки. И слова казахские в его произношении звучали чудовищно. И Мамбет Казиевич удивлялся: почему так? Какие-то слова и даже фразы Арыстан с горем пополам еще как-то заучивал, но в устах его они звучали уродливой абракадаброй. Дед хватался за голову.



- Ауыл, – говорил дед. – Ау-ыл!
- Аул, – повторял внук.
- Ауыр, – наставлял дед. – Ау-ыр!
- Аур, – твердил внук. – Р-р-р!
- Аппак кар, – подсказывал дед.
- Албагх гхар, – вторил внук.
- Акмак! – взрывался дед.
- Сам агхмах! – огрызнулся внук. – Калбитский язык!

Кому он нужен?!

– Как калбитский?! – возмущался дед. – Ты что мелешь?
Это же твой, материнский язык!

– Какой еще материнский? Матерный, что ли?

– Язык твоих предков! Понимаешь?

– Ладно, Мамбет... е-е... Казиевич. Пусть на нем мамбеты и говорят. И мама, и папа вполне обходятся без него. Только вы нам голову морочите. «Казахский», «государственный»... Черта с два! Это только вы, мамбеты-патриоты, дурите народ. Какой «государственный»? Государству он даром не нужен. Вон и министры, и депутаты, и акимы – все-все по твоему «кхазакхскому» ни бельмеса не знают, а как высоко взлетели, а ?!

– Это ты сам додумался, или, как попугай, чужие слова повторяешь?

– И я говорю, и другие говорят.

– Ну, так кто из нас мамбет – я или ты, отрекающийся от родного языка?

– Мамбет – вы, а я – Арыстан! Слышите: А-р-р-рыс-та-а-ан!

– Ай, не знаю! Арыстан или Сары тышкан...

– Что такое сары тышхан?

– Серый мышонок.

– Это что – оскорбление? Ущемление человеческих прав? Унижение достоинства?

Арыстан встал в позу, прищурил глаза, дернул хвостиком-косичкой на затылке, грозно прошипел:

– Не по-зво-лю-ю, почтенный Мамбет... е-е... Казиевич! С Арыстаном такой номер не пройдет!

Внуку шел четырнадцатый год. Был он росл, строен, осанист. И уже, видно, нравился девочкам.

Как-то на прогулке Мамбет Казиевич присел на скамейку, всю испещренную дурашливыми надписями. Бросалось в глаза выведенное белой краской, разноцветными фломастерами, шариковой ручкой, карандашом имя «Арыстан». Одна надпись гласила: «Я Арыстана люблю. Аида». Рядом



красовалась вторая: «Я тоже. Гуля.» Третья вопрошала: «Правда, он лапочка? Мадина». А поверх этих невинных девичьих признаний какой-то озорник выпарапал гвоздем: «Суки вы все!» Мамбет Казиевич не сомневался, что речь несомненно шла о его внуке.

Однажды вечером, когда за столом собралась вдруг вся семья, что случалось крайне редко, Арыстан ни с того, ни с сего надулся, насупил брови и ломающимся голосом буркнул, не глядя ни на кого:

– Блин, несправедливость получается!

– Что такое? – всполошилась Зухра Ганиевна.

– Несправедливо говорю! Дискриминация молодого дарования, – еще пуще возмутился Арыстан.

– Это ты, что ли, молодое дарование? – скривила губы Лаура.

Арыстан промолчал, но засопел сильнее.

– Говори яснее, без намеков, – заметил Бахыт.

– Ну, как же! Все вы раскатываете на своих машинах, а я что – рыжий?! – выпалил, наконец, Арыстан и покрылся пятнами.

– Во дает! – первой догадалась о «дискриминации» Зухра Ганиевна.

– Коз-зел! – буркнула, поджав губки, Лаура.

– Сама ты! – вскинулся Арыстан, но осекся. – Разве справедливо?

– Слушай! Ты ведь только в седьмом классе, – урезонил его отец. – Дойдешь до девятого-десятого, тогда видно будет.

– Ну и что, что в седьмом?! У нас в классе уже у троих свои машины. А для меня вам и паршивого «Жигуленка» жалко, да?

– И что ты, козел, будешь с ней делать, с машиной?! – все более распалялась Лаура.

– Ну, в школу ездить... На бассейн. В Парк. Учителку домой возить. Девчонок катать.

– Какие еще девчонки?!

– Обыкновенные! С руками и ногами.

– Ты глянь на него! – изумился Бахыт. – Орел! Каскыр!

– Арыстан я!

– Ну и ну!

– Учудил, козел!

– Губа не дура!

– Ладно, – задумчиво заметила Зухра Ганиевна. – Не базарьте. Мальчик подрос. И у него новые запросы. И он,



действительно, не Кушикбай, не Мамбет... простите, пожалуйста, – невестка мельком покосилась на свекра, – а Арыстан. И с правами и потребностями его надо считаться.

- Он же в первый же арык свалится, – съязвила Лаура.
 - Но ты же не свалилась!
 - Х-ха, сравнила!
 - Ему ведь и шестнадцати нет, – подал голос Бахыт.
 - Какая машина? Самокат или велосипед – и то...
 - Брось! При чем тут шестнадцать? К Арыстану это не относится.
 - Ай, рановато... рановато пока, – покачал было головой все время молчавший Мамбет Казиевич.
 - А вас не спрашивают! – осадил его внук. – Ваше дело – сторона.
- Мамбет Казиевич прикусил язык и отодвинул чашку.
В семье сына он все больше чувствовал себя чужим.

Глава двенадцатая

«Люфтганза» вылетела из Алматы на рассвете. Регистрация началась в полтретьего ночи. Двое суток Карл Деграф промаялся в гостинице «Алтын дән» в ожидании своего рейса. Документы были в порядке, все вроде предусмотрено, дом, усадьба переданы в надежные руки, но на душе скребли кошки. Оторванный от родного аула, вытолкнутый из привычной среды, очутившийся один-одинешенек на распутии, он не находил себе места, томился в неведении и как ни старался настраивать себя на предстоящую радость встречи с детьми и внуками на земле предков, душевного облегчения не испытывал. Иногда ему чудилось (или так хотелось?), что наверняка произойдет что-то неожиданное, непредвиденное, что-то помешает, ну, может, с бумагами непорядок какой выйдет, или рейс вдруг отложат и скажут ему в последний момент: «Возвращайся, старина, домой. Полетишь через год». И тогда он с легким сердцем вернется в аул. Но нет, все шло, казалось, своим чередом, все срабатывало, как надо.

В гостинице он познакомился с большой семьей Таубе из Костаная. Многочисленный клан Таубе – старуха-мать, двое сыновей с женами, дочь с мужем, шестеро внуков – после двухлетних мытарств с оформлением всевозможных бумаг, языковых тестов-экзаменов, бесконечных проволо-



чек и отговорок, унижений и вымогательств, после продажи домов и нажитого за долгие годы имущества, наконец-то собрался в путь на этническую родину, о которой имели весьма смутное представление. Вид у всех Таубе был измученный, подавленный; лица точно окаменевшие; одеты были по-сельскому непритязательно, кто во что горазд. И этим своим обликом клан Таубе производил тягостное впечатление. Так российские немцы выглядели еще в пятидесятые годы, когда возвращались из трудармии и ссылок и находились еще под бдительным оком комендатуры.

С раннего утра за все эти дни Таубе, уже готовые в дальнюю дорогу, собирались вместе, словно на производственное совещание, сидели на баулах, среди бесчисленных сумок, что-то жевали, тихо, чуть не шепотом, оглядчиво переговаривались. И все заботились о суроволицей, высокой, как мумия, старухе, главе клана, отрешенно смотревшей вдаль и редко проронявшей словечка.

— Не знаю, как доведем мать, — пожаловался старший сын, Гельмут, при знакомстве с Карлом. — Совсем плохо.

Выяснилось из разговора, что весь клан Таубе из одного колхоза, все механизаторы, свинарки, доярки, шофера. Один лишь бабушкин любимчик, внук Володя, отслужил армию и теперь как бы их главный командир, ибо самый грамотный и бывалый среди них. Ну, а на хох-дойч шпрехает одна престарелая мать, и на нее там, в Германии, вся надежда. Да вот совсем расклеилась, хворости одолели. А тут еще дорога, хлопоты, бессонница, волнения.

— Вас там встретят? — поинтересовался Гельмут, крижистый, почти квадратный мужчина с обветренным, грубойковки, в тяжелых складках лицом.

— Да, дети, внуки.

— Вам легче. А мы сразу в лагерь. Как все. Бараки, нары, общая столовая. А потом, рассказывают, нотвоунунг, шпрахкурсы, определения местожительства. Хорошо, если отправят на запад, а если определяют жить в бывшей ГДР — то говорят, хуже. Ну, Бог с ним. Только бы довести муттерхен. Только бы она выдержала.

Регистрация тянулась долго и нудно. Проверяли отъезжающих пристрастно, строго. Документы просматривали до дыр. Просвечивали всю поклажу. Сравнивали с фотокарточкой, заставляли снять головной убор. Искали, к чему бы придраться. Тщательно сверяли декларации. Обнаружилась всякая нелепица. У одной снохи Таубе в декларации,



оказалось, не указаны золотые серьги, у второй – золотая цепочка. В портсигаре Гельмута были спрятаны три кольца с камушками и золотой мундштук. Начали выяснять, доказывать, оспаривать, заставили переписать декларации. И старинная, вся потемневшая от времени плотная книжица с готическим шрифтом вызвала у таможенников подозрение. Но старуха, выхватив из чужих рук священную книгу с духовными песнями-молитвами, цепко прижала ее к тощей груди, всем аскетически-суровым видом как бы доказывая, что теперь уж не упустит ее, даже если невзначай умрет. Недавний солдат Володя Таубе прихватил с собой свой любимый кларнет в дорогом футляре, а на вывоз инструмента, оказалось, нужна справка-разрешение от Министерства культуры: вдруг кларнет представляет особую ценность или выкраден из государственной коллекции? Но недавний воин армии проявил настойчивость и упорство, сверкал глазами, нажимал на голос, качал права, демонстрировал кларнет, доказывая, что инструмент заурядный, серийный, а, исчерпав все доводы, с презрением сунул в кармашек таможенника пятьдесят долларов, после чего тот сразу же убавил служебную прыть.

Возбужденный, взбудораженный, ошетилившийся клан бывших колхозников из Костаная, наконец, миновав все преграды, пробился в тесный и душный накопитель. Здесь старой немке совсем стало плохо. Сыновья поддерживали ее с двух сторон под руки, снохи усердно обмахивали ее платками, перепуганные внуки умоляюще тарашили на бабушку глаза, а старший, Володя, подносил ей под нос ватку с нашатырем.

– Мутти, мутти, потерпи, еще чуть-чуть, – уговаривал мать Гельмут. – Сейчас запустят в самолет. Там тебе сразу станет легче. Врача пригласим.

Волнение и страх семейства Таубе передались и Карлу. Его стало бить мелкая дрожь. Сам он таможенный осмотр прошел без проблем. По совету детей он прихватил с собой лишь самое необходимое, отправившись в дальнюю дорогу с одной тощей сумкой и целлофановым пакетом.

Начали медленно подниматься по трапу. Гельмут пропустил Карла вперед, наказывая занять места.

– Чудак! Места ведь указаны в билете.

– Ай кто знает! Народу-то вон сколько.

Семейство Таубе уже у трапа опять взяли в оборот. Видно, проверяющие намеревались хоть что-то содрать с отъ-



езжающих немцев. Опять подолгу принялись просматривать ворох разных бумаг, билеты, вызов, афнамебешайд, декларацию, подозрительно косились на ручную кладь – полтора десятка сумок и пакетов, снова с пристрастием всматривались в лица. Наконец, во внутрь ровно гудящего самолета нырнули внуки, снохи, оба сына. Сзади под руку осторожно вел бабушку внук Володя. Стюардессы, контролеры нетерпеливо столпились у двери. Посадка явно затягивалась. И вдруг донесся испуганный крик Володи:

– Ома! Ома!..

Бабушка бесчувственно повисла на его руках, завалилась на перила трапа. Пухлая книга-молитвенник в черном переплете глухо упала на ступеньку. Стюардессы ахнули. Весь клан Таубе ринулся назад на входную площадку, все так же держа ручную кладь.

– Нельзя! Нельзя! Куда вы?! – всполошились стюардессы.

К ним подбежало несколько человек в форме.

– Что такое? Что такое?!

– Что случилось?!

– Либер Готт! Я так и знал... Предчувствовал... – простонал враз побледневший Гельмут. – Не хочет господь, чтобы мы уезжали...

Всего лишь две ступеньки не успела преодолеть старая немка из Костаная, чтобы войти в уютный зев разогретого лайнера, в котором уже успели расположиться ее снохи и внуки, отъезжающие в Германию. Столько лет о том желанном мгновении говорили, мечтали, грезили и, когда до осуществления выстраданной мечты осталось два малых шажка, случилось непоправимое.

Уж если Бог карает за что-то, то беспощадно.

Шок длился недолго.

«Люфтганза» готовилась к взлету. Время на раздумывание вышло.

Засуетились стюардессы, диспетчеры, провожающие, командир корабля, все подразделения службы.

Что делать? Как быть? Всех Таубе снять с рейса? А потом что? Как все заново утрясти, уладить?

Клан Таубе охватила паника.

Подкатила санитарная машина. Врач и сестры, развевая халатами, стремительно поднялись по трапу. За ними засеменили двое санитаров с развернутой носилкой.

Володя с трудом удерживал безжизненное тело бабушки.

В салоне заволновались пассажиры.

– Бабушке плохо, – прокатилось по рядам кресел.



– Умерла, – подтвердил кто-то.

– Какой ужас! Уже в самолете?

– Нет, на трапе при посадке.

– Какая нелепость!

– Не приведи Бог!

Растерянность обрушилась на всех.

Бабушку уложили на носилки, рядом положили растрепанный молитвенник. Внесли тело в машину.

Володя принял решение.

– Летите. Я остаюсь. Справлюсь. Похороню. Потом видно будет. Летите! Другого выхода нет.

– Володя, держись! Крепись! Родной... прости нас.

– Ладно. Не волнуйтесь. Все уладится.

– Либер Готт! Такой удар...

Люк с треском захлопнулся. Трап спешно отъехал. Лайнер медленно и тяжело, колыхаясь, вырулил на взлетную посадку, надсадно взревел, взрывая предрассветную тишь во всей округе.

Три ряда кресел, занятые семейством Таубе, онемели от неожиданного горя.

Стюардессы мигом рассыпались по своим местам. «Люфтганза» затряслась всем своим огромным телом.

По радио призвали всех пристегнуть ремни.

Часы на табло показали четыре двадцать пять местного времени.

Карл плотнее вжался в сидение, пристегнул ремни, бросил таблетку нитроглицерина под язык. Слабость ударила в поясницу, по телу пробежал противный озноб.

Старой Таубе из Костаная не суждено было ступить на землю предков.

«А что, если бы со мной такое случилось? – подумалось Карлу. – Хоть и тракторист, да сердце ведь не железное. И рядом никого...»

Он даже не осмеливался покоситься в сторону поредевшего клана Таубе.

«Люфтганза» уверенно набирала скорость и высоту. На экране у потолка заглись карта, маршрут полета, стрелка над городами, красotka-куполка, улыбаясь до ушей, демонстрировала, что надлежит делать пассажирам в случае непредвиденной опасности. У Карла кружилась голова, ныл одеревеневший затылок, знакомая боль отдавала в левую руку. Он зажмурился, представил свой дом у озера, усадьбу, вспаханное поле, одинокую турангу, увешанную разноцветными лоскутками, могилу Марии за железной



оградой, и на сердце его стало так тяжело, что он застыл.

– Was ist los, mein Herr? – озабоченно спросил рядом сидевший краснолицый, толстый, не в меру бодрый немец, обросший сивой бородой. – Haben sie Schmerzen?

– Нет, нет, – ответил Карл по-русски. – Просто... так...

– Ach so?! – промычал толстяк участливо.

В салоне ярко горел свет. По рядам забегали стюардессы и стюарды, ловкие, вышколенные, источали вежливые улыбки и готовность услужить. Запахло кофе, пивом, зажаренными колбасками. Зазвучала громкая, уверенная, картавая немецкая речь. Все изготовились к завтраку.

Карлу все было внове, в диковинку. Когда-то он летал в Москву, на выставку народного хозяйства, но, помнится, такого радужного обхождения не было. Один раз угощали тощей, синюшной, пережаренной курицей с зеленым горошком, блеклым чаем с рафинадом и раза два давали слипшиеся карамельки. А тут глаза разбегались. Он подолгу разглядывал изящные упаковки, тюбики, коробочки, баночки, внимательно читал надпись, смутно догадываясь, что же скрывалось за блестящими, шелестящими, разноцветными обертками, соображал, как же подступиться ко всему этому изобилию, как бы не перепутать и не опростоволоситься, начал распахивать по карманам разные расфасованные штучки, чтобы угостить при встрече внуков, и искоса наблюдал за вальяжным соседом, который артистично орудовал пластмассовыми, одноразового употребления ножиком, вилкой, ложечкой, запросто вскрывал баночки и пакетики, откупоривал бутылочки, ел со вкусом, быстро и уверенно расправляясь со всем набором всякой всячины на огромном подносе-коробке.

Крупноголовый, массивный немец-бородач то и дело косился на Карла, хмыкал, фыркал, чмокал красными губами, ухмылялся, кричал, отдувался, пыхтел, мурлыкал под нос, испытывая явное наслаждение от обильной трапезы.

– Матиас Хорнунг, – представился он по-немецки и уточнил. – Доктор Матиас Хорнунг. Коммерсант.

И отправил в широкий красный зев бутербродик с черной икрой, потом вслед – розовую ветчину, заглотал, как удав и тут же запил глотком пива.

– Карл Деграф, – буркнул Карл, и подумав, добавил. – Бывший колхозник... колхозбауэр.

Коммерсант вскинул кустистые рыжие брови, колыхнул тугим брюхом.



– Карл? – переспросил, проглатывая «р». – О, дочер, альзо?

– Руссланддойчер, – поправил Карл.

– O! Sehr angenehm! Хар-ра-шо-о! Gut! По-немецки говорите?

– Многое понимаю. Но говорю, извините, плохо. Отвык.

Коммерсант из Германии оказался мужиком разговорчивым, любознательным, к тому же, видно было, пребывал в хорошем расположении духа. Он бурно зашпрехал по-немецки, обрушивая на Карла поток странно звучащих немецких фраз, к тому же смазывал окончание слов, непривычно интонировал конец предложения, безбожно картавил, заглатывал слова вместе с пищей в свою объемную утробу, и Карл с трудом вникал в смысл витиеватой речи экспансивного немца.

– Может, вам сподручнее беседовать по-английски?

– Что вы? Откуда?! Кто по-английски беседует в ауле? Удобнее мне по-русски или по-казахски.

– Казахиш? Вундербар! Говорят, казахский схож с турецким? Так ли?

– Не могу знать. Я же сказал – колхозбауэр. Тракторист.

– Хм-м... По-русски я знаю слов десять. – Матнас наморщил лысеющий лоб. – Привет. Как дияла? Хорошо. Спасибо. Так получилось. Не снайт. Не понимайт...

– Уже кое-что.

– Ха-ха-ха!.. Но – согласитесь – для беседы маловато. А по-турецки изъясняться могу. В Турции бываю часто. Но мы ведь немцы. Думаю, пойдем друг друга. Нихьт вар?

К счастью Карла, словоохотливый немец говорил главным образом сам, спрашивал и, не дожидаясь ответа, болботал и болботал, как самодовольный гусак, довольствуясь краткими, однозначными репликами Карла, которого такая форма общения вполне устраивала: не надо было напрягать память, выуживая из ее темных глубин нужные немецкие слова и удобно было настраивать слух на диковинный немецкий речестрой. Это было утомительно, но отвлекало от тягостных мыслей, навеянных разлукой с родным краем.

А Матнас, управившись с завтраком, то и дело подзывал услужливую, поджарую стюардессу и заказывал то пиво, то коньячок, то виски со льдом, то «кровавую Мэри», то орешки, то парочку бананов, мельком смотрел на эк-



ран, определял, где и на какой высоте находится в данный момент «Люфтганза», какая температура за бортом, и при этом говорил, говорил, бубнил в бороду, обрушивая на голову Карла ушаты разнообразной информации.

– Знаете, Карл, я в последние годы часто бываю в Азии. Главным образом, в Кыргызстане и на юге Казахстана. А с чего все началось? О, вундербар! Германию часто навешает Чингиз Айтматов. Знаете его? Нет?! Ach, schade, schade! Он очень популярен. Прекрасный писатель, искусный дипломат и, кажется, и коммерции не чужд. Кстати, российские немцы в Германии его обожают. Как-то он проводил литературные лезунген с продажей своего романа «Kassandramal» по германским городам. Со своим переводчиком Фридрихом Хитцером. Там и познакомились. Разговорились. И он дал мне несколько адресов в Бишкеке, рекомендовал заняться там бизнесом. Ну, поехал, огляделся. Затеял несколько сыроварен, один колбасный цех. Сырье есть, рабочей силы навалом. Тогда еще и местных немцев было много, еще до войны обосновались. Вроде как пошло дело. Технология немецкая, мясо, молоко киргизское. Спрос на продукцию велик. Но... вскоре все обернулось крахом. Немцы уехали. Новые хозяева все быстро разворовали. И тоже драпанули кто куда. Пошли убытки. Главное: верить некому. Ты вкладываешь деньги, а они так и норовят тебя облапошить. Жулик на жулике. Зависть, злоба, рвачество. Какой тут, к чертям собачьим, бизнес?! Куш сорвал и в кусты. Шайзерай! Хундстрек! Власти никакой. Демократия – пшик. С кем иметь дело? Бизнес ведь любит стабильность. У вас, в Казахстане, кажется, спокойней. Ja?

Карл кивнул.

– Но тоже воруют?

Карл повел плечом.

– Воруют, наверное. Особенно на верху. А в ауле что воровать?

– Хотите сказать: все уже разворовано?

– Просто воровать нечего. Разве что козлушку или барашка. Или корову угонят. Земля продана и не поймешь, кто хозяин.

– Хм-м... Коррупция, слышал, свирепствует. Или процветает?

– Не знаю, – опять дернул плечом Карл. – Наверное есть. Но газеты до аула не доходят, телевизор не работает, нет света, по радио сплошной аляуляй...

– Was ist das – а-ляу-ляй?..



– А-а... дурные песни... трали-вали, laŕi-faŕi, ля-ля, а-ла-ла...

– Понятно. Информации никакой. Колхозбауэр, одним словом, – усмехнулся Матиас, глотнув из пузатого бокала пивка.

– Колхозбауэром был раньше. Теперь пенсионер.

– Значит, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю?! – съехидничал коммерсант.

– Не совсем так, – холодно возразил Карл. Скрытая спесь и самоуверенность соседа его начала раздражать. – И вижу, и слышу, и знаю. Но мало.

– Ja, ja... понимаю. Stimmt, – сразу согласился коммерсант – Конечно, конечно. Суверенность есть, а лада нет.

– Да, пока что чаще всего царит разлад.

– О, ja! Разлад ощущается и в мировом масштабе. Наступили времена сплошного разлада. Что уж говорить о молодом государстве, тем более об айле.

– Ауле, – поправил Карл.

– Как? Киргизы говорят «айл».

– То киргизы. А мы говорим «аул».

– Интересант! И вы всю жизнь прожили в ауле?

– Да, с 1941 года. Когда Усач-Шнауцер нас выселил.

– О, целых, считай шестьдесят лет! Столько я еще не прожил. И за шесть десятилетий аул изменился?

– Изменился. В худшую сторону. Аул забросили. Видно, он себя изжил. Все норовят переселиться в город.

– Ну, это понятно. Общий процесс, – заключил Матиас.

Самолет гудел монотонно, размеренно и, казалось, совсем не двигался, повис на месте. На экране под потолком то и дело показывали карту Азии и Европы и по континентам двигался крохотный серебристый самолетик, все стремительней приближавшийся к зеленой стране под названием «Дойчланд». Мелькали названия известных городов бывшего Советского Союза и восточной Европы. Пассажиры первого салона дремали, разложив кресла и укутавшись пледом. В конце лайнера, возле туалетов, курили и бесцеремонно колготали самоуверенные немцы. Между проходами резвились дети, щебетали на разных наречиях. Карл утомился, закрыл было глаза, всем видом показывая соседу, что ему сейчас совсем не до разговоров. Ах, с каким бы удовольствием полежал бы он сейчас на своем просторном топчане на веранде у себя дома, укрывшись овчинным тулупом и прислушиваясь сквозь дрему к утренней перекличке петухов! Он силился представить осиротевший без



хозяина дом возле озера с одинокой турангой, подворье, озадаченного Рекса, дорожку, протоптанную им к могиле Марии, безмолвные поля, белесые тучи в бездонной синеве неба, но не мог сосредоточиться, отвлекали натужный гул, и назойливый свет, и мельтешение экрана под потолком, и разноголосые разговоры вокруг, и бесконечная беготня взад-вперед улыбчивых и услужливых стюардесс.

Карл определил: лететь осталось чуть больше часу, но оживление уже чувствовалось в салоне. Мужчины потянулись к туалетам бриться, переодеваться, женщины – причесаться, принарядиться. Только семейство Таубе продолжало сидеть неподвижно, в оцепенении. Внуки дремали в немыслимых позах, кто сжавшись в комок, кто раскинув руки-ноги, взрослые точно окаменели в безутешном горе. Суровое, грубое лицо Гельмута избороздили глубокие морщины, скулы обострились, взгляд ушел в себя. Он только перебирал пальцами тяжелых, крестьянских рук.

Карл вздохнул: как утешить соплеменника и земляка? Какое горе подстерегло его напоследок, когда весь клан находился уже рядом с многолетней, выстраданной мечтой!..

К Гельмуту направился бортпроводник, что-то прошептал ему на ухо, и Карл увидел, как старший Таубе весь встрепенулся, потом съёжился, обмяк и обеими ладонями прикрыл лицо.

Карл тотчас подошел к Гельмуту. Дотронулся до его плеча.

– Есть вести, брат?

– Майн Готт, какие вести? Передали из Алматы: вылет Володи отложили на две недели. Этим же рейсом.

– Ну, так это хорошо!

Гельмут отнял руки от лица. По тяжелым складкам возле щек катились слезы.

– Да, хорошо... Но маму похоронят в Аматы. Якобы разрешили. Бедная мама!.. Ни до аула не добралась, ни до Германии. Надо же!.. В пути смерть настигла. Господи, ну, за что нам такое наказание? Даже мать родную схоронить не смог. Будто бросил...

– Не казни себя, брат. Внук-то при ней. Надежный парень. Он и предаст бабушку земле. Не на чужбине лежать матери, в земле Казахстана, где прожила шестьдесят лет. Опомнитесь – будете навещать. Значит, так распорядилась судьба.

Гельмут смахнул ладонью слезы. Молча оплакивал бабушку весь клан Таубе.



«Люфтганза» уже бороздила небо Германии.

Карл сел на свое место, пристегнул ремни, прислушался к биению своего сердца.

– Волнуетесь? – спросил сосед-коммерсант, допивая бокал «Кровавой Мэри».

– Сердце зачастило.

– Понимаю, понимаю... Земля предков. Фатерланд. Через полчаса вступите на землю, откуда когда-то уезжали неведомые предки.

– Двести тридцать лет назад.

– Девять-десять поколений. Представить только! Такой долгий-долгий путь домой. Потомок в десятом поколений достиг мечты.

– Признаться, я лично о том и не мечтал. И волнуюсь совсем не потому. А оттого, что увижу своих детей. И горько мне, что в этот момент нет рядом моей покойной жены.

– Ах, зоо?!..

Коммерсант со своими разговорами надоел Карлу, и он откинулся на кресло, закрыл глаза, предвкушая радость от встречи с детьми на неведомой земле. Ныло в затылке, учащенно билось сердце. Пришлось прибегнуть к валидолу.

«Люфтганза» плавно снижалась. В салоне воцарилась томительная тишина. У Карла заложило уши. Стюардессы разносили в ведерках распаренные салфетки, которым перед посадкой предстояло освежить лицо и руки. Ощущение было такое, будто Карла со всех сторон укутали плотной ватой. Слабая дрожь ударила в низ живота.

– Дети в одном городе живут? – словно сквозь толщу воды донесся голос Матиаса.

– Да, в Линце.

– Так это же в Австрии!

– Не знаю... Сказали недалеко от Бонна.

– Хм-м... Не слышал.

Воздушный лайнер, грузно колыхаясь, совершил посадку. Пассажиры дружно захлопали в ладоши, благодаря пилота и его команду. Семья Таубе, словно по команде, сорвалась с места и дружно ринулась к выходу, будто боясь опоздать. Сразу же несколько стюардесс бросились к ним наперерез.

– Куда?! Цурюк! Посидите! Вас пригласят к выходу.

Но Таубе, все нахмуренные, насупленные, как на штурм, рвались к выходу, плотно сомкнув ряды.

– Да куда же вы?! Еще трап не подали. Садитесь же!

Клан Таубе ничего не слышал, не соображал.

– Там... там... автобус... автобус... – как шальной, бормотал Гельмут. И у остальных были вытаращены глаза. Казалось, они шли на таран.

– Колхозбауэр, – усмехнулся Матиас-коммерсант. – Из тайги? Или из тундры?

– Из Казахстана, – буркнул Карл. – Аусзидлеры. В лагерь спешат.

Матиас достал из внутреннего кармана пачку долларов, перетянутую резинкой, аккуратно вытянул сотенную купюру.

– Прошу вас, Карл. Примите от меня маленький презент. В честь вашего возвращения на историческую родину. Внукам сувениры купите.

– Что вы?! С какой стати? – отшатнулся Карл. – Зачем?

– Возьмите, возьмите... прошу вас. Чисто символически. За удачу. Я ведь славно провернул одно дельце. Заключил договор на охоту в заповедниках Киргизии и Восточного Казахстана. Лицензии получил на отстрел горных козлов и сайгаков. Уже через месяц приеду с группой охотников. Хороший бизнес! Это тебе не сыроварня!

– Нет! Нет!

– Возьмите, чудака. Такая мелочь. И мне, и вам на удачу!

И запихнул зелененькую купюру Карлу в карман.

Над Франкфуртом-на-Майне низко плыли-кружились кудлатые облака. Пахло дождем. Бросались в глаза чистота, ухоженность, слаженность, порядок.

При входе из огромного автобуса с высокими, мягкими сиденьями Матиас по-медвежьи обнял Карла, вручил визитку и нырнул в толпу. Здесь же, держась друг за друга, исчезли куда-то и Таубе. Карл, очутившись в водовороте толпы, растерянно оглядывался, силился прочесть бесчисленные указатели на стенах, от которых рябило в глазах, оглушенный многоголосым гулом, вместе со всеми двинулся к таможенному контролю. Наконец, после долгих стояний, выжиданий, хождений, проверок, казенных улыбок, вежливых «Битте!» Карл выбрался на открытую площадь и тотчас услышал громкий зов Эдвина:

– Папа, папа! Мы здесь!

В колыхающейся толпе встречающих Карл увидел два плакатика с крупной надписью «Карл Деграф», выведенной черным и зеленым фломастером. И тут же выхватил взглядом улыбающиеся лица дочерей. Рядом находились еще какие-то люди, радостно размахивающие руками. Дол-



говязого молодого человека в яркой куртке сплошь в «молниях», с усами и рыжей бородкой, в темных очках он сразу и не признал.

– Эдвин! Ты, что ли?!

– Ну! – пробасил Эдвин, улыбаясь до ушей.

Вконец растерявшегося Карла обступили, окружили, облепили дети, внуки, еще кто-то и, говоря все вместе, наперебой обнимали его, целовали, затискали, потом повлекли к стоянке машин, тянувшихся на километр.

Карл опешил от сутолоки и восторга. И не попад что-то отвечал на град обрушившихся вопросов.

Выяснилось, что встречать отца приехали на трех машинах.

– Почему же на трех? – недоумевал Карл. – Хватило бы и одной.

– Ай, всем хотелось похвастаться, что у каждого своя тачка, – оскалился Эдвин. – Есть такая слабость у русаков.

Карл никак не мог надивиться потешным обликом сына. По его представлениям, усы и жидковатая бородка совсем ему не шли.

Каждый из детей тянул отца в свою машину. Наконец, договорились: отец поедет с дочерьми и старшим внуком, учащимся реальной школы, чем родители-аусидлеры очень гордились. «Представляешь? – сходу доложила Эльма. – В классе его из местных только двое, остальные все аусидлеры – из Казахстана, России, Украины, Таджикистана, Эфиопии, Румынии». Эдвин и зять Петер решили поехать впереди и заглянуть по пути в кнайпу. А сосед и его кореш поедут в конце. Вот таким торжественным кортежом и заявятся на своей улице на зависть местных и приезжих жильцов: знай, мол, наших аусидлеров из Казахстана. Как только отъехали от аэропорта балагур-весельчак Оскар-меннонит, муж Зельмы, сидевший за рулем, начал травить анекдоты. Видно, он был мастак забавлять публику. И дочки Карла начали хохотать, едва он открыл рот. А он у него почти не закрывался.

– Знаете, отец, какие бывают немцы? Они делятся на уехавших, уезжающих и желающих уехать и думающих, что они не желают уезжать.

И первым рассмеялся. Но Карл в этой шутке юмора не уловил. Он не жаловал говорливых. Ему нравилось молчать и смотреть. Особенно в пути.

Но Оскар-пустоболт был настроен на другую волну.



– У немца-русака спрашивают: «Почему вы уехали в Германию?» «Надоели праздники». «Какие праздники?» «Колбасу достал – праздник. Туалетную бумагу – праздник».

– Ха-ха-ха, – залились сестры.

«Видно, анекдот с бородой, – рассеянно подумал Карл, вглядываясь в мелькавшую мимо окрестность. – Ныне у нас, по крайней мере, ни то, ни другое, кажется, не дефицит».

– А вот случай на таможне. Таможенник спрашивает у советского немца: «Почему ты уезжаешь? Что, нет работы или квартиры?» Немец отвечает: «И работа, и хороший дом с хозяйством». Таможенник: «Так что ж ты тогда уезжаешь, фашистская морда!» Немец: «Вот потому и уезжаю».

– Хи-хи-хи, – раздалось дружно на заднем сидении.

– Злые какие-то у тебя анекдоты, Оскар, – проронил Карл.

– Ну тогда, отец, из другой серии. Называется: «Их хабе цвай бабе».

– Хи-хи-хи...

– Ха-ха-ха...

– Почему у мусульман много жен? Потому что они хотят иметь жену красивую, умную, добрую и богатую.

И Оскар самодовольно загоготал.

«И что они такие веселые? Радуются моему приезду? Или веселье от безделья бьет через край?..»

Карл во все глаза любовался незнакомым ландшафтом за окном. В Европу пришла ранняя весна. По правую сторону дороги возвышалась временами сплошная железобетонная стена, отделяющая автобан от близлежащих городков и приглушающая шум от машин, слева тянулись лесочки с хилыми деревцами, зазеленевшие поля, ровные, ухоженные лужайки. Все казалось игрушечным, крошечным, вылизанным до каждого кустика. Дорога, без ухабинки и рытвинки, точно отполированная доска, разматывалась под колесами машин. Стрелка спидометра дрожала на отметке 160. Машины неслись-летели по обе стороны сплошным потоком. Оскар уверенно держа руль, продолжал выдавать анекдот за анекдотом. Дочки на заднем сидении захлебывались от смеха.

Карл молчал. На голубом небе низко метались дождевые облака. Так же метались и мысли Карла Деграфа. Он отметил про себя, что там, в Казахстане, и дождь, и земля



пахли по-иному. Карл силился увидеть хотя бы один трактор на ровном, без единого комочка поле, но тщетно. До самого Линца он трактора так и не увидел. Не было и ворон и грачей, тусовавших на обочине. «Вот они, другие берега», – подумал Карл.

Глава тринадцатая

Ночью старик не мог уснуть. Он томился на балконе, смотрел в сторону гор, плотно укутанных серым мраком, обшаривал небо, пытаясь тщетно разглядеть хотя бы одну звезду. На западном склоне обычно мерцали два-три искусственных спутника, но сегодня и они исчезли.

Видно, и город охватила бессонница. Всюду мелькали огни, снизу, с аллеи и бульвара, доносились голоса гуляк и полуночников, сновали машины, перекликались клаксоны, хлопали входные двери у подъездов. Вдалеке, над крышами домов, тускло сияла корона гостиницы «Казахстан».

«Так что же получается? – назойливо думалось старику. – Выходит, невестка уже без утайки пошла по скользкой дорожке. Ай, стыд-то какой! Бедный Бахытжан! Неужели ни о чем не догадывается, ничего не видит? Вся семья на виду и вдруг такое! И как мне теперь быть? Делать вид, что ничего не знаю? Да разве обо мне речь? Каково же Арыстанчику? Ах, горе-то...»

Больше всего старик жалел внука. И самое скверное: он не знал, как и о чем с ним теперь говорить, какими словами утешить. Ведь ясно: то, что он вчера невзначай увидел в бассейне, будет преследовать его всю жизнь. Эта зарубка в памяти не разгладится никогда. Лаура – другое дело. Та наверняка обо всем давно догадывается. Может, потому и взвинченная постоянно? Может, потому и фыркает на мать по всякому поводу? Черт знает что!..

Старик вернулся в свою комнату, плюхнулся в кресло, включил торшер, принялся за газеты. Их накапливалось столько, что он не успевал их просматривать. Газет издавалось в городе уйма, и все многостраничные, пухлые, и во всех непременно встречалось что-то любопытное. Раньше, еще в советское время, была благодать: развернешь, бывало, газеты, на первой странице, скользнешь взглядом по обрывдлым указам и постановлениям, так же пробежишься вскользь по некрологам на последней полосе и спокойно отбрасываешь. А теперь нет: обязательно за что-нибудь изрядное зацепишься.



Старик развернул издание, издавно знакомое. В нем обстоятельно, замусоленными словами писали о небывалых успехах экономики страны, о всемирном признании и славе Казахстана, о вояжах Елбасы, о наградах государственным деятелям, о всеобщем ликовании трудящихся в канун грядущих перемен, расписанных на два-три десятилетия вперед, о добыче нефти и газа и сногшибательных инвестициях, о росте пенсии и зарплаты.

«Апырай, как они видят то, что никто не видит? Или это я один ничего не вижу? Сказано ведь: слепой и верблюда не увидит. Неужто я ослеп? И как им только не надоедает долдонить изо дня в день одно и тоже, бить в даулпазы и проводить за тоем той, задуривая всем головы?!»

В других газетах писали сплошь о темных делишках, о коррупционных уфитах-суфитах, о ловкачах и юркачах, о финансовых махинациях, о безработных и наркоманах, о преследовании оппозиции, о повальном бесчинстве и беспределе, о чиновничьем разгуле, о тотальном бесправии, и писали так хлестко, так кричаще, так надсадно, с таким надрывом, что казалось, вот-вот обрушится небо и настанет конец света. И опять подумалось поневоле: «Как же так? Неужели все так ужасно? Неужели нигде ни в чем просвета нету? Разве страной правят одни прохиндеи и лиходеи? Так ведь не бывает! И жизнь не состоит из одних пакостей. И откуда такая покорность, такая безнадега? Как же жить дальше?! Не-ет... тут что-то не так!»

Старик шуршал газетами, скользил взглядом по строчкам, а перед глазами, как наваждение, стояла одна и та же картина: резвится белая упругая рыбка в бирюзовой воде, а за ней, вспенивая волны, гонится полосатый, крупный окунь, встопорщив грозно плавники.

Старик отшвыривал газеты и вновь выходил на балкон, кутаясь в верблюжий чапан. Ай, позор! Ай, стыд!.. Кто бы мог подумать?

Взвизгнув тормозами, остановилось у подъезда такси и из него, не спеша выбралась Лаура. Постояла, оглянувшись, как бы соображая, где находится. Потом увидела на балконе одинокую фигуру Мамбета Казиевича, сделала ручкой, дурашливо хохотнула и, пошатываясь, направилась к подъезду. Вид ее был помятый. Длинный красный шарф болтался сбоку до земли. С другого плеча небрежно свисала сумочка на ремешке. Короткая шубка распахнута. Космы выбились из-под берета. Старик догадался: из ночного клу-



ба возвращается пташка на хорошем взводе. Часы показывали четвертый час ночи.

Старик, вздохнув, вернулся в комнату, включил транзистор, поймал «голоса». По одному каналу упоенно рассказывали о взрывах в Ираке, по другому – о пожарах и бесчинствах в Париже, по третьему – об очередном землетрясении в Пакистане, о наводнении в Румынии, о птичьей grippe в азиатском регионе, о вылазках террористов, которым тоже почему-то нейдет. Нет, поистине, мир сошел с ума. И люди ошались, и природа взбунтовалась. Может, все это божья кара за неисчислимые человеческие прегрешения? Или в самом деле приближается акыр заман – светопреставление? Куда все идет? Скверно начался XXI-й век, по всему, скверно и кончит.

В дверь постучали, показалась взлохмаченная Лаура в небрежно накинутом халатике, в тапочках на босу ногу. От нее шел густой дух табака, шампанского, шашлыка с острой приправой, разгоряченного женского тела.

– Х-хеллоу, Мамбет Казиевич... как... как настрой?

– Так себе... не спится.

– И мне не спится... Недоперебрала, как выражается один тип... Поговорим?... Или выпьем?

Лаура по-свойски подмигнула старику, хохотнула, тяжело опустилась на край кровати, машинально натянула подол халатика на оголившиеся смуглые ноги.

– О чем говорить? Поздно уже... Или рано?... Чай я давно попил.

– Ф-фи, чай... Какой скучный бабай! И дом будто вымер. И призраков нет.

Старик искося смотрел на юницу в изрядном подплатии. Надо же... красивая, в соку, а разболтанная. Или прихотывается? Или от скуки умирает? Неужели и она пойдет по стопам матери?

– Мамбет Казиевич... вы вот жизнь прожили. Скажите, почему на свете так много подлецов и подонков?

– А разве их много?

– Пруд пруди! На каждом шагу. И все пытаются тебя охмурить. С виду шибзик, дрянь, вошь, а на уме одна пакость. Всем сексу подавай, козлы вонючие!

Старик поник головой. Он не был склонен поддерживать пьяный бред девицы.

– Чего смутились?... Э-э.. да ну вас к фигам! Скажите, где были днем? Звонила раза три, никто трубку не берет.

– На дачу ездили.



– Да-а-а?! – изумилась Лаура и насторожилась. – С кем? Почему?

– С Арыстаном. Просто так. Воздухом подышать.

– Да-а-а?! – Лаура вскинула бровки, прищурилась, трезвея. – Ин-те-рес-нооо... Что-то проясняется...

И вдруг замолкла, нервно заерзала.

– Случайно, этот... ну, Серж... не там был?

– Кто? – опешил старик.

– Кто, кто! Конь в пальто!.. Хахаль этот хренов. Серж!

Старик замялся.

– Не видел никакого Сержа. Аслана видел...

– Я не об Аслане спрашиваю!.. – отрезала Лаура. – А... а... мадам нашу тоже не видели?

– Кого? – совсем растерялся старик.

– Маму!

– Н... не видел.

В глазах Лауры вспыхнули зеленые искорки. Пьяная одурь вмиг развеялась. Девушка вскочила, запахнула халат, принялась ходить взад-вперед от порога до балконной двери, шлепая отопками.

– Ин-те-рес-нооо! Ох, интересно! Подлец! Скотина!

В голосе ее клокотали месть и злоба.

– Ладно, Мамбет Казиевич. Бай-бай! Я все поняла.

– Что поняла?

– Что надо, то и поняла... Снотворного у вас нет?

– Сроду не пользовался.

– Жаль... Боюсь, не усну. Слишком возбуждена.

Лаура тихо прикрыла за собой дверь.

Старик озадаченно задумался.

Глава четырнадцатая

Пенсионеры-вольнодумцы, облюбовавшие скверик у памятника Чокану, с некоторых пор обратили внимание на слегка согбенную фигуру явно аульного старика, одиноко и отрешенно бродившего за железной ажурной оградой импозантного элитного дома. В белом мешковатом костюме, с орденской планкой на груди, в старомодной соломенной шляпе, в спортивных кедах, в темных очках он бродил, чуть припадая на одну ногу, по тропинке вдоль ограды, пристально вглядываясь в прохожих по аллее. В одной руке он держал витиеватую трость с медным набалдашником в форме волчьей головы, правую руку в полусогнутом виде бережно прижимал к боку.

Чувствовалось, что старик здесь недавно, еще не освоился на новом месте и, казалось, тщетно высматривал в бредущих мимо знакомого. Ему, по всему, было неуютно и тоскливо за железным забором. Он чертил круг за кругом, все сильнее опираясь на трость, часто останавливался, отдыхал, прислонившись к ограде, прислушивался к обрывкам разговоров городских сверстников, ходивших гурьбой по аллее или беседовавших на ближайших скамейках.

– Е-е... откуда этот старик взялся? Что-то раньше не видать было.

– Видно, отец богача, коль в элитном доме обитает...

– Похоже из аула приехал. Видишь, всех чурается.

– А сын или дочь за ограду не пускают. Может, и сам робеет.

– Вот и ходит, как арестант.

– Бишара, бишара...

– Ну, какой же бишара, если в таком дворце живет?!

– Не нам чета. Пенсия, видать, его не волнует.

– Пенсия, может, и не волнует, а в глазах – тоска и растерянность.

– Какая тоска? Одет, обут, сыт, горя не знает.

– Насчет горя – еще неизвестно. Чужая душа – потемки.

И так продолжалось каждый день. Группа стариков собиралась дважды в одно и то же время, до обеда и ближе к вечеру, вела нескончаемые разговоры, обменивалась газетами, последними новостями, почерпнутыми из радиийных и телевизионных передач, обсуждала городские сплетни и слухи, перемывала косточки государственным и политическим деятелям, решала, кого куда в ближайшее время задвинут, кому вручат орден, а кого отправят, куда подальше, выражалась хлестко, без утайки и оглядки, облегчала душу и ровно через час расходилась, будто у всех враз находились неотложные дела. Двое или трое из группы явно плохо слышали, без конца и невпопад переспрашивали, о чем речь, и потому все колготали во все горло, на всю округу, нсвольно обращая внимание случайных прохожих и детей, игравших с нянями под елями. А одинокий старик за оградой из элитного дома жадно ловил их слова и фразы, о каждом из завсегдатаев составлял примерное мнение и представлял, кто из них есть кто. Судя по всему, были они люди знатные, занимали в свое время солидные посты, каждый знал себе цену, был крупным специалистом в своей области, однако, старость сравняла их, никто ничем



особенно не выделялся, держались между собой просто и дружелюбно, называя друг друга уважительно на «ака» и «еке». Старiku за оградой очень хотелось присоединиться к ним, посилено участвовать в их беседе.

То, о чем они так живо беседовали, его тоже не оставляло равнодушным.

Как-то раз, когда прогуливавшаяся вдоль арыка группа порвнялась со стариком за оградой, тот учтиво поздоровался:

– Ассалаумагалейкум!

– Алейкум салем, – отозвался кто-то из группы. – Да будет благополучен ваш дом, аксакал. Чего ж вы прячетесь за оградой? Айдайте к нам. Поговорим, потолкуем.

– Спасибо. Вижу, у вас своя стая...

– Ну, и вы не чужак... Примем в свои ряды. С испытательным сроком, понятно.

– Из аула, почтенный?

– Да... Сын недавно к себе забрал.

– Барекельде. Сын в этом доме живет?

– Да, на третьем этаже. Я вас каждый день вижу из окна.

– Выходит, сын – шишкарь?

Старик пожал плечом, улыбнулся, польщенный. Но при этом растерянно заозирался вокруг, будто с опаской поджидая кого-то.

Действительно, неожиданно подкатила к ограде «Тойота», из нее выпорхнула молодая дама в бежевом брючном костюме, в темных очках, покосилась на группу пожилых завсегдатаев аллен и, упруго поднимаясь по крутым гранитным ступенькам, произнесла с нескрываемым укором:

– Мамбет Казиевич! Ну, что это еще такое?!

Старик за оградой мигом стушевался, заметнсе ссутулится, сник и, сказав: «Извините, азаматы», послушно засеменял к подъезду.

– Видели? – переглянулись завсегдатаи аллен – Беднягой помыкают, как собачкой. А вы говорите «Элитный дом», «ни забот, ни горя»...

– Апырай, неужели дочка? Я ее, кажется, видел по телевизору.

– Не-ет... Скорее, сноха.

– Это надо же! «Мамбет Казиевич!»

– Выходит, не по душе ей, что старик общается с такой шантрапой, как мы.



– Не позавидуешь Мамбету.

– Потому и томится за железным забором.

Однако через неделю-другую старик из элитного дома осмелел и присоединился к членам Клуба молодых дарований, как для смеха называли себя порой старожилы-чочановцы.

– Ну, вот... нашего полку прибыло.

Мамбет Казиевич охотно влился в круг завсегдатаев, пристроился сбоку, помахивая дорогой тростью, и поначалу чувствовал себя скованно, не зная, как попасть в тон их разговора. Завсегдатаи аллеи Чокана представились, и Мамбет Казиевич понял, что среди них случайных встречных-поперечных нет, каждый что-то из себя значил и занимал в свое время заметное место в обществе. Вот тихий, поразительно скромный, незаметный старичок, оказалось, работал некогда аж в ЦК компартии Казахстана, в каком-то важном отделе и, надо полагать, не просто бумажки перебирал; другой шумный, глуховатый, кряжистый, крутонравый, выяснилось, прошел Крым и Рим, испытал все дразги послевоенного времени и всю жизнь вращался в среде журналистов, писателей, артистов, художников, знал и Хаджи-Мукана, и Джамбула, и Кенена, и всех знаменитостей казахского искусства, давно перекочевавших в мир иной; рослый, поджарый, с манерной походкой азамат, говоривший по-казахски сочно и образно, прибегая к пословицам, поговоркам, шутливым речениям, по всякому поводу цитировавший древних акынов и жырау, назвал себя рядовым скотоводом, а на деле оказался доктором наук, профессором и поныне работавшим в каком-то институте на полставки; а вот этот всегда аккуратный, подтянутый, явно помоложе других, держался степенно, солидно, выяснилось, что он карьерный дипломат, долгие годы работал в МИДе Союза, Казахстана и за рубежом; еще один, светлолицый, длинноносый, сильно припадавший на правую ногу, вообще оказался другого рода-племени, хотя и ловко изъяснялся по-казахски, и Мамбет Казиевич вспомнил, что не однажды слушал его по телевизору и читал по газетам: особенно любопытным показался некий Шаке, который держался немного особняком, уверенно рассуждал о властепредержащих и с таким напором говорил о предстоящих политических реформах, так ловко рассовывал министров и служаков из президентского окружения, что впору было подумать, что именно он ведает кадровой политикой страны: находились среди завсегдатаев «Чоканки» и трое русских:



один длинноволосый, вежливый и улыбчивый, приятный в общении, внешне опрятный и собранный, мечтательный и погруженный в свои раздумья, был народным артистом, профессором консерватории, избегал досуговых разговоров о политике, зато оживлялся, когда речь заходила об искусстве, музыке и женщинах; второй, явно болезненный, худой, регулярно слушал все русскоязычные «голоса» и был осведомлен обо всем на свете, много читал и многословно, велеречиво толковал о политических событиях во всем мире, делая при этом экскурсы в далекое прошлое, когда-то он работал замминистра рыбной промышленности, и когда рассказывал о рыбах – можно было его слушать бесконечно; третий русский, уже в больших летах, был в свое время крупным партийным и советским работником, большим хозяйственником, говорил мало, но веско, мнения свои не навязывал, а воспоминания его уходили во времена сталинских наркомов, к Косыгину и Кунаеву. В числе активных членов Чокановского клуба находился еще один импульсивный, темпераментный технарь, хорошо, впрочем, знавший русскую классику, не жаловавший казахских национал-патриотов, которых к месту – не к месту разоблачал в хвост и гриву, неизменно ратую за русскую культуру и глобализацию; он всегда ходил с ворохом оппозиционных газет под мышкой, переживал разлад в общественном сознании, но при этом оптимистично оправдывал власть, утверждая, что иначе поступать она просто не может, ибо вынуждена функционировать в заданном режиме. Было еще несколько почтенных «ака» и «еке», некоторые показывались лишь изредка, но все всё знали, судили-рядили обо всем и обо всех уверенно, иногда пускались в резкие споры и даже в стычки, выказывая былой норов, когда еще восседали в значительных креслах, яростно отстраняли свои замшелые воззрения, ибо некоторые ходили не просто в «бывших», но еще и работали, преподавали, консультировали, вращались в разных кругах – от светских до обывательских и прекрасно видели, что и как происходит в их довольно взбаламученное время, когда вдруг повсеместно низменные инстинкты, как грязная пена, всплывали наверх, ржой изъедая накопленные веками нравственные устои. Слушать их было интересно, любопытно и поучительно. Мамбет Казиевич не без удовольствия отмечал про себя, что многие их рассуждения созвучны его мыслям, что обо многом и он имеет примерно такое же представление, но не может выразить его так четко, лапидарно и уверенно,



как его новые собеседники, искушенные в повседневных словесных прениях. Даже хворости были с ними примерно одинаковы – полный старческий набор: гипертония, ишемия, пиелонефрит, атеросклероз, быстрая утомляемость, одышка при ходьбе и прочие возрастные болячки. Но о хворостях своих члены Клуба Чокана предпочитали не распространяться, смирились, как с чем-то неизбежным, храбрились, бодрились, подначивая друг друга, случалось, заглядывали в ближайшую «Рюмочную», чтобы тяпнуть, дербалызнуть хотя бы граммов тридцать-пятьдесят благородного «акмаганбета». А в нескончаемых и неторопливых разговорах их занимали, в основном, политические, экономические, социальные проблемы в обществе, при этом, прожив жизнь, они видели не только то, о чем денно и ночью твердила официальная пропаганда и что, конечно же, имело место, но и тот очевидный и всеместный разлад, что происходил в сознании, в душах, в общественном укладе, в мире тотальной коррупции, лжи и распушенности, во времена необузданного шахера-махера и большого хапка. Они с упоением перебирали косточки живым и усопшим государственным деятелям, разным пройдохам, пронырам и прощелыгам, авантюристам и юркачам, рыцарям беспардонной демагогии, ловкачам, стригущим шерсть с куриных яиц, ненасытным хапугам в высоких креслах, высокопоставленным безнравственным торгашам, самозабвенно продававшим все, все, все, чем Творец на века благодетельствовал исконных степняков, все, что было создано впрок на земле и под землей, все, что предки, щедро проливая кровь, отстояли в сокрушительных схватках с супостатами ради мира и благоденствия грядущих потомков.

Вольные рассуждения завсегдаев аллен Чокана были в большей степени понятны, доступны и созвучны сокровенным думам Мамбета Казиевича, о которых, однако, он привык не распространяться. В ауле не было принято рассуждать вслух. Там предпочитали хлопать ушами, кивать головой и держать язык за зубами. Говорили лишь то, что положено. А что положено, определяли бастыки – председатель аулсовета, повторявший мнение районного акима, а тот в свою очередь озвучивал лишь мысли акима области и его свиты. Те же носы держали по ветру, чутко улавливая дуновения сверху. Говорить то, что думаешь, считалось непозволительной роскошью, а то и крамолой. Если кто-то из аулчан случайно ронял: «По-моему, наш бастык немного не того», как другой, оглядываясь, останавливал вольно-



думца: «Ойбай, ты что? Оппозиционером, что ли, стал?! Смотри, бала, хоть мы и добились свободы, однако лучше хвост поджать. Мало ли что?..» И то верно: с аульного мугаллима спрос особый. Ему след изрекать только правильные мысли...

Еще там, в ауле, читая газеты, сидя прилежно у транзистора, вслушиваясь в обличительные бормотания «головосов» (нередко и на казахском языке) и вглядываясь в то, что происходило в ауле, в округе, районе и области, радуясь, как все, вожделенной независимости, Мамбет Казиевич, однако, смутно догадывался о том, что существует все же заметный разлад между тем, что болбotalи господа новой жизни где-то там, в недоступных кругах и что творилось на самом деле на местах, в низах, где, как всегда, копошился смиренный и измочаленный люд, который по неистребимой вековой привычке помалкивал, терпел, сносил все обиды и несправедливости, все бедствия и лишения, пахал, обихаживал скот, латал ветхое жилище, растил детей, уповал на Всевышнего, на извечный порядок скромного бытия, довольствуясь самым малым, не роптал, не возмущался ни судьбой, ни начальством, а покорно делал вид, что верит, искренне верит в то, что внушают ему день-деньской, из года в год бывшие партийные дельцы, странным образом перекрасившиеся в народолюбцев и рьяных радетелей священной веры, заповеданной славными предками. Слишком очевидны были ложь и фарисейство, творимые повсюду. Трудно верилось в многословные прожекты, в ненаучную фантастику, помпезные планы, амбициозные посулы, рассчитанные на долгие десятилетия, на то, что к тому далекому сроку либо хан умрет, либо ишак сдохнет. Народ-то хорошо помнил, как подобными же сказками про коммунистический рай долго и усердно потчевали еще фанатичные болшайбеки и айналайн советская власть, теперь этот же аляулай заладили ухватистые новые благодетели, в одночасье ограбившие страну и пожертвовавшие самым наглым образом соплеменниками и соотечественниками ради своих шкурных, семейных и клановых интересов. Старая-престарая истина о том, что, де, «пусть говорит байский сынок, хоть и рот его кривой», вновь стало правилом лживого бытия. Вновь кредо властьпредержащих становилась нехитрая мудрость, гласящая: «Чем сорок дней быть ата-ном – холошенным рабочим верблюдом, лучше быть один день бурой – самцом-производителем и побуйствовать всласть». Вот и буйствуют, пляшут ламбаду, хапают, хвата-



ют, пихают в себя в три горла, снабжают дерьмом богатства потомков до седьмого колена, терзают бедную страну, как хищник добычу, все, все кому не лень, кто вовремя подсутился и изловчился, подкрался, пристроился к какой-нибудь – большой или малой – государственной кормушке. Казалось, всех охватило повсеместное безумство, обрушилось пандемия наживы, начался пир Вальтазара, сплошной той-думан с пылью до небес. Такой колоброд Степь доселе не знала. Что хочу, то и ворочу – стало девизом ретивых заступников и благодетелей народа. А то как же... чай, не зря боролись за независимость и суверенность. Кто смел, тот и успел. А кто опоздал – пусть пеняет на себя. Рынок не для растяп и пентюхов. Выживает сильнейший. Пора это зарубить на носу.

Обо всем этом назойливо думалось бессонными ночами аульному мугаллиму, бывшему участнику великой войны, искренне верившему в высокие идеалы, вдолбленные в сознание сызмальства разными вождями, и видевшему, как все вдруг в одночасье разладилось, расползлось по швам, точно ветхий, созревший тулуп, и все побрели по кривым путям-дорожкам. Он только не в силах был провидеть, когда и как эта свистопляска, инициированная лже-пророками и умниками с повадками хапуги, кончится и что последует за всей этой вакханалией. Да, кашу сумели заварить крутую, но кто будет ее расхлебывать? Совершенно очевидно, что не кашевары. Они наверняка умоют руки и вовремя слинянут. А народ надорвался, слишком долго его насиловали и ему не под силу вынести все эти нескончаемые реформы, замешанные на откровенной лжи и подлости. «Видно, я многого не понимаю. Не представляю, куда двинулось кочевье времени. Одно ясно: жизнь стала другой. Неспроста предки утверждали, что в пятьдесят лет обновляется земля. И народ другой. И молодежь манят иные цели», – размышлял и успокаивал себя Мамбет Казиевич, отмахиваясь от изнуряющих мыслей. И теперь здесь, в городе, находясь среди своих новых собеседников, он с радостью и удивлением замечал, что обо всем том, что его постоянно волновало, думали примерно так же, но более определенно и резко, и его искушенные во всех житейских делах городские замандасы.

– Ну, братья-агаины, выкладывайте новости-хабары, – затевал беседу глуховатый, язвительный Ес-ака. – Только свежие, свежие! То, что пишут в газетах, говорят по радио и телевидению, оставьте. Только свежие!



– Откуда их возьмем? Свежие хабары разве что в карманах и за пазухой нашего Шаке.

– А он молчит, как партизан.

– Что «Свобода» говорит, о чем «Азаттык» толкует?

– Е-е... у «Азаттык» жидкая пошла похлебка. Видно, у тамошних жигитов ничего нового в коржуне нет. Все старое полощут. То о гражданском браке, то о необходимости многоженства для казахов треплют. А тут еще и по-русски болботать надумали. Растянули свои передачи на два часа. Кто их будет слушать?

– А «Казправда» что пишет?

– О, алла, о чем она может писать? О благоденствии, о небывалом расцвете, о достижениях. Эта газета, как всегда, пишет о том, чего в жизни нет.

– Ну, да... «Осел осла усердно чешет, дурак возносит дурака».

– Шумим, шумим об успехах, а я что-то их не вижу. Как считал копейки, так и считаю.

– Плохое зрение, значит. А незрячий, как известно, и верблюда не замечает.

– Я одного не понимаю, Кареке. Денег у государства навалом. Нефть льется рекой. Газ рвется в небеса. О цветных металлах и речи нет. А почему пенсии не добавляют?

– Добавили же!

– А толку-то? Государство копейку добавит, базар рубль стянется.

– Е-е... иначе нельзя. Иначе – перегрев в экономике. Инфляция. Дефолт.

– И вообще нельзя, чтобы всем жилось хорошо. Всем хорошо будет, так люди работать перестанут. И Бога забудут, не только начальника.

– Зато тоев, шоу каждый божий день. И деньги швыряют на ветер.

– Ну, это смотря кто и чьи деньги. Вот пишут, один богатей-дуралей, самодур, каких свет не видывал, на именинах сына-малолетка пир закатил – чертям тошно. Девять иномарок на призы выставил, сто юрт поставил, всех акимов в округе созвал, тенге с вертолета на потеху зевак разбрасывал. Знай, мол, наших! А ты о пенсии говоришь...

– Каждая собака бесится по-своему.

– Почему таких к порядку не призывают?

– Кто? Кого?

– Жулик жулика, вор – вора? Смешно!

– Но не все же жулики?



– Не все! Но честных и порядочных все меньше. Ибо время, нравы, система, порядки жуликоватые. Герой нашего времени стал жулик, ворюга, хапуга, рвач, юркак, ловкач, обманщик. Если время – хитрый лис, будь гончей и настигни его. Не я это сказал – наши предки.

– Подлое время рождает подлецов и авантюристов.

– Это не время подлое, а режим, в котором живешь. Хан насаждает ханизм.

– И раньше так было. Еще Чехов жаловался: «В наш век лжет всё».

Кружатся-кружатся пенсионеры-старики вокруг памятника Чокану, полощут слухи-новости, почерпанные из газет и радио, перемалывают то, что узрели по телевизору, осмысливают на основе личного житейского опыта, просеивают через сито своего ума-разумения, вытряхивают торбу накопленных представлений, выбивают пыль былых знаний, сопоставляют, анализируют, прикидывают, ворчат, сетуют, избобличают, на ощупь добираются до истины, обращаются к прошлому, пытаются вглядываться в будущее, мусолят диковинные, недоступные их пониманию явления новой жизни, удивляются, поражаются, возмущаются, а потом по-стариковски сами себя утешают, призывают к разуму и терпению: «Ай, тауба, тауба! Не будем гневить Аллаха, не будем роптать и жаловаться. Благодарение тому, что есть. Слава Всевышнему, всемилосердному – не голодаем, одеты, обуты. повседневный шай-пай есть, и дети вроде как при деле, никто не пошел кривой дорожкой, шастают, копошатся, шсбуршат по мере сил и способностей, добывают на свой прокорм какую-никакую «напаку», не висят на родительской шее, сами чего-то ищут-рыщут, иногда находят, не бомжуют, не кайфуют, пагубным соблазнам не поддаются, вон и внуки, как ковыль в степи, подросли-подтянулись. А кое-кто и правнуками обзавелись, открыв себе прямой путь в рай... тауба, тауба... над нами раскинулось синее небо, мирное, благодатное... живем в согласии... правители наши трудятся в поте лица во имя всеобщего благоденствия... вон посмотри на соседей, сплошной раздрай, разлад, распад, бишаринское прозябание... ссорятся, дерутся, отношения выясняют, злобствуют, на чужое зарятся... а у нас, кудайга шукір, мир, лад, курултай, ассамблея, той-думан, радость-ликование, ну, конечно, может, и не совсем благодать, понятно, жаворонок еще не свил гнезда в шерсти барана, ясно, нехватки-неполадки кое-где, там-сям, аздап-маздап имеют место, не



без того, страна во-о-он какая громадная, ее в одночасье не обустроишь, будь наш правитель хоть семи пядей во лбу... да, и бедных многовато, и нищета плодится, кто-то прыгает от сытости, с жира бесится, кто-то дрожит от холода, зубами клацает, но каждый как может, на свой салтык изошрется, приспособливается, принаравливается, добивается посылно своей божьей доли... Известно, ход кочевья выправится в пути, постепенно, понемногу все наладится, нельзя же не замечать, как возводятся новые города, как преобразовываются старые, как оживились торговля, быт, как улицы заполнили дорогие машины, от которых прямо-таки спасу не стало... всюду заторы, «пробки», по тротуару не пройдешь, у некоторых нуровишей уже по две-три иномарки, об остальном и говорить нечего, лет десять назад не каждый мог похвастаться холодильником, телевизором... А квартир у них тоже по две-три, в аренду сдают, доллары качают, виллы, коттеджи, дворцы строят... е-е-е... тауба, тауба, не надо рот обтирать сухой травой, не след все время приbedниаться, бишару из себя разыгрывать, ныть-нудить... шукир-шукир... есть, есть добрые перемены, да, да, потерн тоже есть... люди стали, пожалуй, черствее, расчетливей, подозрительней, недоверчивей, хитрей, забыли про иман, про великодушие, милосердие, взаимовыручку, про совесть, стыд, про обал-сауап... неприветливые, хмурые, завистливые, злорадствующие, жадные, ненасытные, загребушие, склонные к пакостям, подлостям, интригам... и новое поколение подрастает странное, непонятное.... Настороженное, нечитающее, себе на уме, с дурными наклонностями, находящее усладу в насилии, убийстве, садизме, извращенном сексе, порочной пагубе, бандитской романтике, примитиве, вскормленное ложью, обманом, демагогией, взятками и круговой порукой, низменными клановыми, корпоративными отношениями, показухой, фрондой, наплевательством на доброту, сердечность, такт, деликатность, природную нравственность. Е-е-е... что тут говорить, разлад в жизни, в семье, в обществе, в душе, в сердце, в думах, в поступках чувствуется на каждом шагу, такой вдруг наступил заман, о котором предупреждали еще два века тому назад мудрые акыны и жырау. И все же не стоит отчаиваться... Тауба, тауба! Слава создателю, что дожили до этих дней, что вступили в новый век и сподобились своими глазами видеть, куда двинулось течение жизни и может приоткрыть завесу грядущего, хотя оно, как говорил Абай, окутано туманом. Тауба, тауба...»



И эта общая тональность всех разговоров и суждений новых знакомцев была созвучна нынешнему душевному состоянию Мамбета Казиевича. Он разделял эти мысли и настрой. Сознал, что жизнь усложнилась, однозначная мерка к ней не подходит, слишком много в ней противоречий, время уплотнилось и еще более ускорилося, как никогда, все в ней причудливо сплелось-переплелось, возвышенное и низменное, прекрасное и уродливое, и нет таких весов, которые бы точно определили, в чем обретения, а где потери, и, видно, им, старикам, упоенно рассуждающим о современном житье-бытье, просто уже не под силу приравниваться к новым веяниям, а потому и не стоит ворчать, сетовать, а лучшее и мудрое, что отпущено на их век, — постараться понять, осознать, осмыслить, постичь то, что происходит. В конце концов у каждого поколения свой жребий, своя доля, своя удача, свое назначение, отпущенные Судьбой, и с этой вековой мудростью, необходимо, пожалуй, смириться, а не лезть в чью-то душу и навязывать свои отжившие представления.

Вслушиваясь в разговоры своих новых собеседников, Мамбет Казиевич вспоминал родной аул у озера с одинокой турангой, аулчан, с которыми рос и жил целый век, их скудное житье, повседневные докучливые заботы, вечную борьбу за выживание, заброшенные поля, покинутые хибары, тусклое прозябание, бесконечные нелады и несуразности, тоскливое безлюдье, сплошную запущенность и безверье, поселившееся в души земляков, сопоставлял ту зыбкую, иллюзорную жизнь с нынешним своим житьем у удачливого, обеспеченного сына в роскошной квартире в элитном доме, перебирал в обострившейся памяти все впечатления последнего года, свои походы в школу внука, в казахский драмтеатр, где пересмотрел весь репертуар, в музеи, о которых мечталось в ауле, в библиотеки, магазины, базары, пытаясь вникнуть в коллоброд городской суеты, в водоворот событий, происходящих в стране, и ловил себя постоянно на том, что трудно, а, может, и немислимо четко разобраться во всем, что творится, ибо все это плохо укладывалось в сознании пожилого человека, отягощенного грузом памяти, родившегося еще до коллективизации, в том далеком патриархальном укладе, пережившего столько общественно-социальных потрясений двадцатого века и теперь по воле Всевышнего вступившего в новое столетие, в неведомую жизнь, в незнакомую обстановку все убыстряющегося бытия. Мамбет Казиевич часто по-



сещал разные мероприятия, бесчисленные презентации, мудреные конференции, где держали пространные речи именитые ученые, философы, писатели, историки, общественные деятели, мелькавшие также постоянно на экранах телевизора, регулярно навещавался в Дом ученых, благо он находился рядом с элитным домом, заглядывал в литературный салон «Номад», где тусовались юнцы с литературными амбициями, и, стараясь вникнуть в то, что они так убедительно вещали, все чаще думал о том, что и эти высоколобые умники находятся на распутии, что и им, несмотря на витиеватое многознайство и заемные модные словечки, которыми они самовлюбленно сыпали кстати и некстати, многое недоступно, неясно, а неминуемая глобализация, надвигавшаяся над всем миром, как неотвратимое цунами, их и манила, и страшила, ибо подрывала национальные корни, от которых спешили отречься разве одни законченные манкурты. Голова шла кругом от всех этих дум и впечатлений. И старику чудилось, что жить становилось все труднее, все неуютнее в этом беспокойном, вздыбленном времени, несмотря на кажущееся благополучие и благоденствие. Может, лучше вообще ни о чем не думать, ничего не видеть и не слышать? Жить в своей скорлупе, отшельником, перетирая полуистлевшие воспоминания? Жить как живется, плыть по течению, ни на что не уповать, или уповать лишь на то, куда кривая вывезет. Будь что будет... все равно... ты ведь всего лишь песчинка в мироздании, к тому же песня твоя спета, осталось лишь подводить итоги, которые, кроме тебя, никому не нужны... было прахом – будет прахом. Да, все это так, завершается круг твоей жизни, но разлад в душе тяготил, удручал, томил, изнурял. Иногда старик твердил себе: нет что-то не так, не так. Все или, точнее, многое, что ныне происходит на его глазах, плохо согласуется с трезвым разумом, с совестью, с иманом, с нравственностью, все кажется временным, показушным, ложным, зыбким. Вселенская одурь добром не кончится. Все равно, рано или поздно, надо выбираться на путь истины, установленный и проторенный высшим порядком. Потом думалось: все так, так, так. Хаос, смятение неотвратимы, неизбежны перед вожаемой гармонией в человеческой душе и обществе. Все еще само собой уладится, утрясется, обретет свой желанный осто, смысл. И все спорное, сомнительное, подозрительное, несуразное, безумие и беспредел, охватившие общество, страну, людей и правителей, в конце концов придут к нечто разумному,



определенному и целесообразному. Хаос, смута не могут тянуться вечно. Накипь, пена, все наносное и показушное, ложное, ненастоящее со временем схлынут. Ясно, что это произойдет нескоро. Скорей всего, понадобится смена двух-трех поколений, ибо нынешнее юное поколение, судя по всему, сбито с толку, с панталыку, развращено ложными идеалами, сомнительными ценностями, пагубными ориентирами, оно, можно сказать, загублено, а чтобы нравственно очиститься, облагородиться, опомниться, вытравить все наносное последующим поколениям, очевидно, нужны время, терпение, усилие, высокие цели и чистые помыслы. Душе человеческой необходимо обновиться, преодолеть меркантильность, пошлость, жадность к дерьму, именуемому богатством, которое ныне его тяжело поразило.

– Скажите, Абеке, не пора ли поменять правительство, а? Боюсь, наша стабильность оборачивается банальным застоем.

– Застой в понимании наших властей и есть стабильность. А правительство поменять какой смысл? Ну, убьют Мыржыкбая и поставят Тыржыкбая. Много ли проку? Один Мыркымбай уходит, другой Мыркымбай приходит. Ну и что?

– Финансиста поставят на здравоохранение. Не отличающего пшеницу от овса объявят министром сельского хозяйства. Гинеколог станет дипломатом. Гольфист – спикером. И что получится?

– Получится шило на мыло.

– Вот-вот... от перестановок пешек ничего не меняется. Нужны системные, режимные, кардинальные перемены. А разве на них пойдут?

– Это что, революция?!

– Ну, что вы! У нас это невозможно и не нужно. Миром и согласием надо дорожить. Но и реформы необходимы. До поры до времени, может, автократия и удобна, и даже целесообразна. Но мы ведь все-таки декларируем демократию. А кому-то выгодно, чтобы ровным счетом ничего не менялось.

– И что будет?

– Будут бедные беднеть, богаты – богатеть, император процветать, а народы умирать.

– Кто это сказал?

– Да кто-то из поэтов. Неказахских, конечно.

Рядом чикилял, волоча раненную на войне ногу, самый старый из завсегдатаев – профессор-эндокринолог Буке.



Он приближался к девяноста годам, совсем плохо слышал, но бодрился, изю всех сил чикилял за компанией, носил за пазухой кипу газет. В разговор встречал редко, переспрашивать стеснялся и часто на вопросы отвечал невпопад, растерянно и при этом совершенно некстати, на всякий случай, улыбался или даже похихатывал, демонстрируя глубокие морщины и складки от шеи до лысины.

– Буке, вы в какой партии состоите?

– А? Ха-ха-ха...

– Не ха-ха! Членом какой партии являетесь?

– Я, что ли?

– Ну! Что вы были в компартии – знаем. Что состояли в Партии народного единства – тоже знаем. Потом мы вас видели в Народном конгрессе. А теперь в какой партии?

– А-а... в «Отане»... Нет, нет, кажется, в «Асар».

– Разве не в «Ак жоле»?

– В «Ак жоле» моя байбише.

– А дети?

– Кто – где. Один у Гани, другой – у Алтыншаш, третий – у коммунистов.

– Каких?

– А?

– У каких коммунистов? Большевиков или меньшевиков?

– У Абдильдина.

– Неплохо устроился, Буке! Где-нибудь да что-нибудь обломится. Так, что ли?

– За семейным дастарханом, небось, сплошная ругачка. коли все вы в разных партиях?

– Жо-ок, что вы! Как начальник вздумает, туда нас и записывают. Нам что? Серая собака, пегая или черная – барибир.

– То же и в нашем институте. Всех подряд – и студентов и преподавателей вначале записали в партию «Аул». Никто не возражал. Все мы ведь из аула вышли. Потом нагрянул какой-то важный хмырь, говорил, шумел, грозил, страшал, и мы все оптом вступили в партию «Отан». Никто не пикнул. Вдруг заехала криворотая молодуха в красной майке, сказала: «Если не запишетесь в партию «Асар», всех лишая стипендии». Куда денешься? Все, как один, стали асаровцами.

– Ойпырмай, а! Кто бы подумал, что будет такая партия с нелепым названием «Асар». Для меня это звучит, как хапать.



– А «Отан» как звучит? Для русских что «отан», что «атан», что «аттан» – один черт.

– Ну «Отан» – понятно. Партия власти. Должна же быть у власти партия. Всегда, во все времена так было.

– А сколько у нас вообще партий?

– Чертова дюжина наберется. И еще будут. Дашь каждому пройдохе по партии!

– Любопытно, что почти все парные. Две коммунистические партии, две – «Ак жол», две – «зеленых». Видно, и у «Асар» образуется дублер – «Басар».

– Еще Абай сетовал: «Разделились на партии и посеяли разброд».

– Оно и происходит. А говорят: единство, стабильность, мир и согласие.

Мамбет Казиевич вспомнил: многопартийный ажиотаж докатился и до аулов вокруг озера с одинокой турангой. Слышал: и в районном центре из-за партийной принадлежности возник поначалу сыр-бор, творился раздрай. Приезжали шустрые агитаторы, собирали народ, объявляли программы, иных сопровождала концертная бригада, уверяли-убеждали: только их партия способна вывести Казахстан на дорогу благоденствия. Народ покорно внимал их речам и дружно голосовал «за». Потом в аул заворачивали представители других партий, и тоже такие же прыткие и велеречивые, и вешали примерно то же. И так пели: «Мой Казахстан – страна моя, земля моя, для тебя я песню спою, за тебя я голову сложу». Люди совсем сбились с толку. Кто в какой партии и на каком основании, с какой целью – не поймешь. Надеялись: мешками сахар, муку, рис завезут, по барашку раздарят или хотя бы по тысячу тенге. Но ничего этого не случилось. Роптали: «Эй, зачем мы в эту партию вступали? Апырай, наверное прогадали...» Потом докатился слух: «Никаких! Наш бастык Сәке (Таке, Маке, Хаке, Каке) вступил в «Отан». Значит, и нам туда дорога. Хватит шарахаться туда-сюда!» И все сразу встало на свои места, и все мигом успокоились. Кто осмелился возразить Сәке (Таке, Маке, Хаке, Каке)? Да и священное слово «Отан» обязывает.

Мамбет Казиевич от всего этого переполоха держался подальше, утверждая, что достаточно того, что он пробыл в рядах компартии добрых полвека. Зачем ему нынешние партии, которые больше похожи на корпоративные кружки? К тому же пенсионерам можно наверняка прожить оставшийся век и будучи беспартийными. Но представитель



районного акимата, пухлощекий, гладенький молодец из молодых да ранних, вертких да юрких, урезонил его: «Как же так, почтенный Make? Заслуженный человек, признанный мугаллим, ветеран войны, видный азамат, разве вам к лицу отставать от кочевья времени. Нельзя, нельзя! И народ и начальство не поймут!» И Мамбет Казиевич, поразмыслив, сдался. В самом деле, не след ему в таком солидном возрасте, будучи отцом славного сына, чикилять на обочине жизни. И он записался в «Отан».

А очутившись в городе, осмотревшись, наслушавшись всяких кривотолков, опять засомневался: в правильную ли партию вступил и надо ли вообще вступать в какую-либо партию. Можно ведь прожить и просто честным, порядочным человеком. Вот если бы была, скажем, партия «Иман» – партия чести и совести, благочестия и добродетели, он бы, пожалуй, с радостью вступил в ее ряды. По его разумению, стране не хватало как раз приверженцев такой партии.

– Ну, и как, Make, живется в элитном доме?

– Шукир.

– Просторно? Светло? Тепло?

– Шукир.

– Богато?

– Шукир.

– Этих элитных домов расплодилось в городе, как поганых грибов. «Элитстрой» лезет в каждую щель. Всюду вклинивает свои стекляшки – и никто ему не указ.

– А еще многие элитные дома пустуют.

– Потому что дороги. Никакой приезжий казах туда не сунется. Вот и ютятся на задворках города, в халупах-хижинах.

– С них «Элитстрою» никакого навару.

Да, о бесчинстве «Элитстроя» и газеты писали, и на улицах шумели-ворчали. Время от времени в разных местах центра города то и дело возникали локальные митинги, составлялись протоколы, жалобы, коллективные письма, обращения, подписанные знатными жильцами домов, на крохотную детскую площадку которых покушался поразбойничьи «Элитстрой», уродуя облик старого города и стесняя жизненное пространство. Но это был возглас вопиющего в пустыне. Знающие люди говорили: «Да хоть в ООН обращайтесь, хоть в Гаагский международный суд» и при этом тыкали пальцем в потолок или в небо, таинственно шепча: «Анау!» – «Он сам!» Ну, понятно, если за всем



этим стоит «Анау», то лучше помалкивать. Тут уж никто не указ. Против лома нет приема.

– Интересно, когда Астану достроят?

– А что?

– Да все средства, думаю, туда уходят, как в болото.

– О, не скоро. Планов громадьё. К 2030 году город обернется сказкой в степи.

– Е-е... к тому времени, кто есть, а кого нет...

– Чепуха! Каких-то двадцать с хвостиком лет. А там – заживем!

– О, да! «Грядущее скрыто в тумане сплошном».

– «С надеждою ждущих глаз много кругом».

– Хорошо сказано! А дальше помните?

– «Пыль дней поднимая, проносятся годы,

Не знаю ни рода, ни вида ни в чем».

– Гениален Абай! Как верно: «Пыль дней поднимая, проносятся годы»... Так и наша жизнь. Ходим-бродим, лишь пыль дней поднимаем.

– А грядущее скрыто в тумане сплошном.

– Не только грядущее, а вся наша жизнь, если подумать, прошла точно в сплошном тумане.

Мамбет Казиевич прислушивался к разговорам новых знакомцев, кивал головой, поддакивал, тянул: «ия», «ия», но не осмеливался вставить свои реплики, опасаясь, что может проронить что-либо невпопад. Но в душе он соглашался с суждениями собеседников, радовался, что его затаенные мысли прозвучали в чужих устах. Вернувшись домой, сидя в одиночестве в своей комнате или на балконе, он перебирал, точно четки, все услышанное во время прогулок у памятника Чокану и предавался своим нескончаемым стариковским раздумьям. Одно тяготило: дома делиться своими душевными тревогами было не с кем. Сыну, как всегда, было некогда, снохе – не интересно, Лауру волновали другие проблемы, а Арыстан отмахивался:

– Мне бы ваши заботы, уважаемый Мамбет Казиевич...

Старик из элитного дома с каждым днем чувствовал себя все более одиноко.

Глава пятнадцатая

Что-то разладилось в семье сына, и Мамбет Казиевич это чувствовал и видел. Бахыт дома почти не бывал, будто избегал встречи с домочадцами. Все чаще мотался по



областям, по ближнему зарубежью, подолгу застревал в Астане, выезжал с друзьями на охоту, участвовал в каких-то высоких переговорах, а когда появлялся, просиживал до глубокой ночи в своем кабинете, и Вильма относилась к нему ужин, а возвращаясь на цыпочках, доверительно общалась Мамбету Казиевичу, что сын его что-то не в духе, перебирает какие-то бумаги, ведет нескончаемые телефонные разговоры, из которых ничего понять невозможно.

Чем-то взбудоражена была и келин Зухра. Металась вечерами по комнатам, взвинченно отдавала служанкам распоряжения, искала повод для придинок, то и дело врывается в кухню, хлопала дверцами шкафов и холодильников, ела на ходу, с шумом швыряя посуду в раковину, а Мамбета Казиевича в упор не замечала. Только, случалось, колюче спрашивала:

– Лаура была?

– Не видел сегодня, – кротко отвечал Мамбет Казиевич.

– И где она только шляется, негодница?! – вскипала Зухра и в ярости отшвыривала чашку с недопитым кофе.

Лаура тоже по нескольку дней не показывалась дома. Наведывалась, точно украдкой, днем, складывала в полосатую сумку какие-то вещички, забирала продукты из холодильника, мимоходом бросала опешившему старику:

– Что, Мамбет Казиевич, маман, небось, бушует?

– Да, немного раздражена, кажется.

– Пусть. – ухмылялась Лаура. – Ей это на пользу. Спросит – скажите, что ночую у подружек в общежитии. К сессии готовлюсь.

И опять загадочно хмыкала.

– Ладно. Так и передам.

Мамбет Казиевич отметил про себя, что Лаура явно похорошела, ходила мягко, по-кошачьи, играла ягодицами, изгибала тонкий стан, напряженно выставляла грудки, вскидывала брови, и глаза ее при этом туманились, жмурились. «Ай, в эту девку, кажется, вселился шайтан», – поневоле подумалось старику.

И опять исчезала Лаура на день, на два. Уверенная. Раскованная. Загадочная.

Зухра-келин металась по опустевшим хоромам тигрицей. Осунулась. Поблекла. Злые лучики трепыхали в ее запавших и сузившихся глазах. Мамбет Казиевич поневоле сжимался при ее виде, точно был виноват перед снохой.



– Айналайн, что случилось? Неприятность? – спросил как-то участливо.

– Не ваше дело, почтенный, – отрезала келин.

– Ну, да... ну, да... Извини, – пробормотал сконфуженный свёкор.

В просторной богатой квартире в элитном доме старик почувствовал себя лишним. Один-одинешенек просиживал он целыми днями в своей комнате, шуршал газетами, навевавшими тоску и тревогу, слушал радио с осточертевшими «ым-ба, ым-ба» и «а-ляу-ляй» и постылый, скудоумный айтыс по телевизору, отдававший заурядным торгашеским духом. «Апырай, и айтыс уже в бизнес превратили!» Днем старик оставался с самим собой, ночи коротал в бесконечных думах-воспоминаниях. И от такого опустошающего душу одиночества можно было свихнуться.

– Оляжан, скажи, айналайн, что происходит в доме, как думаешь? – спросил как-то на кухне у пригорюнившейся домработницы.

– А ничего и не происходит, – ответила раздумчиво Ольга. – Радость ушла из дома...

– Астафиралла! – испугался старик. – О чем ты?

– Просто хозяйка не в настроении.

– И чего ей не хватает? Ведь все есть?

– Что «все»?

– Ну, работа, достаток, муж, дети...

– Все есть, да ничего нет, – загадочно ответила Ольга. И добавила многозначительно. – Любви не хватает

– Чего-чего?! – поразился старик.

– Не хватает главного – любви. Вот и все, – заключила Ольга. – Нет любви, все остальное – трын-трава.

– А-а... солай ма?! – вырвалось у старика. – Вам, женщинам, виднее.

А потом у себя в комнате задумался. Оля, может, и ляпнула сгоряча, а высказала правду. В доме все есть, а любви, доброты, обыкновенной участливости, искренности, внимания, сочувствия явно не хватает. Все это куда-то ушло, испарилось. А, может, изначально не было? Каждый живет в своей скорлупе. И родных людей по сути ничего не связывает. Старик это ощутил едва ли не с первого дня своего приезда, но никак не мог так кратко и точно выразить свое ощущение. А Оля попала в самую точку. Зухре, молодой, самолюбивой, властной и страстной женщине, должно быть, и в самом деле не хватает любви. Той, настоящей, иступленной, безрассудной. Понять это можно. Оттого



она порой и неистовствует, готовая в своей необузданности всех и вся испепелить. И тогда ей белый свет не мил, все ее раздражает: и дом, и вечно озабоченный муж, и строптивая Лаура, и он, свекор, болтающийся под ногами, как укор, как помеха, как ненужный свидетель ее душевного разлада. Неужели его сын, обремененный непонятными делами и заботами Бахыт, щуплый, преждевременно лысеющий, должно быть, недостаточно внимательный к своей видной из себя, сочной и, по всему, с детства избалованной, жадной до любви женушке, – главная причина семейного разлада? Конечно, шикарное жилье, обстановка, вилла в горах, достаток, внимание, признание для женщины совсем немало (аульной казашке такое благо и не снится, наши матери, бабушки, прабабушки прожили – и по-своему счастливо – ни о чем таком не ведая), но душа ее – так уж, видно, сотворил ее Всевышний – ненасытно и неодолимо стремится-тянется еще к чему-то, о чем так просто и ясно намекнула простушка и тихоня Ольга. Не хватает любви. Вот где собака зарыта! Необходим еще на худой конец Серж, ловелас, жуир, угодник, умеющий польстить долгополой, увлечь речами и безрассудством, пощекотать душу, возжечь огонь в жилах, затевать рискованные, любовные забавы, от которых сладко кружится голова и замирает плоть. Беда, если бабулю суть разбудит однажды Азазель-искуситель! Оттого и полыхают жгучие искорки в темных очах Зухры-ханум. В такие минуты она становится невменяемой. И тогда, видно, только циник и хам Серж в состоянии погасить ее греховный огонь. Он, старик Мамбет Казиевич, понять это может, но помочь чем-либо бессилён. Обуянной темной страстью бабе кто поможет? Необъезженную кобылку кто укротит? Да-а... а ведь, может, и Бахыту не хватает тоже этой самой любви, ласки и нежности? Очень даже может быть. И Лауре. И даже Арыстану, который и вовсе предоставлен самому себе. Растет без ласки, без внимания и находит утешение в юношеском максимализме, цинизме и ёрничестве. Внук Мамбета Казиевича иногда просто удивляет и пугает. Кажется, он вот-вот выкинет такой номер, от которого все придут в изумление, в оторопь.

Старик замечал: оживлялась и добрела, оттаивала и молдела его невеста лишь тогда, когда в доме или вблизи ее появлялся самоуверенный, самодовольный, холёный красавец-Серж. О, тогда вздорная Зухра-келин становилась покладистой, шелковой, ласковой, и в доме ненадолго воцарялся лад, и в такие дни, случалось, и Мамбету Казиевичу



перепадала толика внимания. У келин даже голос менялся. И она не говорила, а ворковала, выстанывала, как удоволенная голубка. Но в последнее время Серж почему-то избегал появляться в элитном доме. И звонил редко. Поговаривали, что он подыскал себе непыльную работу в какой-то иностранной фирме и даже завел свой прибыльный бизнес, ушел из-под опеки своей прежней шефини Зухры-ханум. Мамбет Казиевич этой вести даже обрадовался. Он никак не жаловал этого самовлюбленного, с наглыми выходками хлыща и диву давался, с чего это женщины к нему льнут. Но, видимо, Зухра-келин придерживалась иногда мнения.

Сидеть день-деньской дома, в четырех стенах, становилось в тягость. Из газет и из бесед со всезнающими завсегдатаями площади Чокана он обрел немного сведений о разных политических партиях в стране, об их лидерах, о разных движениях за национальное возрождение, за восстановление родного языка, за справедливость и свободу, посещал их мероприятия, слушал, мотал на ус, размышлял, стараясь вникнуть в то, что же хотят эти большей частью молодые и образованные люди, у которых мозги работали по-иному, и глаза видели то, что видеть вовсе не полагалось, а говорить и вовсе считалось предосудительным. Душой Мамбет Казиевич сознавал, что общество все заметнее расслаивается, что разрыв между властью и обществом неуклонно углубляется, народ взбудоражен, возбужден, встревожен, ропщет, управлять им по старинке становится все труднее, бывшие лозунги-призывы не срабатывают, не убеждают, а наоборот, раздражают, а власть, не способная проявлять гибкость и понимание реальности, все более отдаляется от масс, не в состоянии уразуметь, что же на самом деле происходит в его глубях. Много и однообразно, упорно и ненавязчиво долдонят о стабильности, подразумеваемая под этим словом покой и застой, главным образом, для власть предержащих. О, Аллах, какой безумец против мира и согласия в обществе? Это ведь основа, на которой зиждется жизнь и благоденствие. Какой разговор! Верно и то, что все мы находимся в одной лодке и раскачивать ее в бушующем океане бытия опасно. Кто бы спорил? Но кто раскачивает эту лодку? Народ, который печется о своем выживании? Или те же прыткие башибузуки, которые окопались во власти, бесятся с жиру и никак не могут набить свое ненасытное брюхо-корджун? Бывая на митингах, на шумных тусовках, прислушиваясь к пылким словам разгоряченных ораторов, старый аульный мугаллим приходил



поневоле к смутному выводу, что в стране, в обществе и в самом деле происходит что-то не так, намечается исподволь явный крен в сторону беспредела и безнаказанности, что богач становится богаче, крутые круче, а бедные – беднее, и ров между ними ширится, и властьпредержащие только на словах ратуют за демократию, пекутся о благе народа, а на самом деле заботятся прежде всего о своем личном благоденствии, хапают и хватают все подряд, едят и пьют в три горла, безумствуют, устраивают пиры-тои во время чумы и ведут себя, как оккупанты в собственной стране, как ошалевшие от крови волки, ворвавшиеся на рассвете в кошару. И нет этим рыцарям наживы, халугам и рвачам дела до будущего народа, чудится им, что можно грабить свой послушный, покорный народ бесконечно, и нет на них управы. Совесть дремлет, честь и достоинство умертвили, абортировали, живут лишь сегодняшним днем. А там хоть трава не расти. Там хоть потоп, акырзаман.

Сомнения закрались в душу аульного мугаллима.

Все перевернулось в его миропонимании.

Рушился казалось бы незыблемый казахский остов.

Разлад, разлад... Везде. Во всем. И еще едва наметившаяся трещинка ныне обернулась в огромную вымоину, в глубокий ров, и власть и народ очутились на разных берегах. Возможно, неожиданно для них самих.

Стоя на балконе и уставясь на снежные вершины Ала-тау, Мамбет Казиевич погрузился в свои вязкие, как тряси-на, думы. Действительно, все вроде есть, все будто хорошо, грех жаловаться, и перспективы, кажется, радужные, а все равно по большому счету что-то не клеится, неотступная тревога витает в воздухе, и на душе у большинства смута. Почему так? В чем дело? Может, ошибочное представление? Ложное предчувствие? Старческие сомнения и подозрения? Может, муть в душе оттого, что в семье сына не все благополучно? И внуки мечутся, и сын со снохой чего-то суетятся, и разговоры вокруг тревожные, и газеты булгачат душу (может, прав Президент, пососоветовавший в сердцах с экрана: «Читать надо меньше!»), и сам он, Мамбет Казиевич, на старости лет, обитая в тепле и сытости в элитном доме, лишился покоя. Бог знает что...

По утрам все чаще ныло сердце, немела левая рука, затруднялось дыхание, шумело в ушах, и незнакомые доселе хворости одолевали и угнетали его. Климат Алматы явно ему не в пользу. В ауле он чувствовал себя бодрее, а здесь, в многолюдном городе, приходил в себя малость



лишь после усиленной утренней зарядки, обтирания влажным полотенцем до обильного, до испарины чаепития. Угнетенное состояние не покидало его порой целыми днями. И спал сумбурно, ворочался, часто просыпался. Снились родители, давно истлевшие в земле, отчий дом, изнурительная лежка в слякотных окопах давно отгремевшей войны, грохот орудий, совершенно пустой класс, в котором он преподавал, напрочь забыв что, и прочая чепуха и муть, от которых просыпался весь разбитым, смурным, с учащенным сердцебиением и горьким комком в горле. Думалось поневоле: ай, видно, душа не на месте, не по мне городская жизнь, не зря казахская поговорка гласит: «Собаке сливочное масло не впрок», и зачем ему комфорт, сытость и блага элитного дома, когда душа взбаламучена?

Может, податься мне в аул? Может, там ко мне вернуться былые покой, умиротворенность, бодрость души и жизненные силы? Походить бы наедине с самим собой вдоль озера, дышать всей грудью, вдыхать аромат, настоенный на степных травах, вслушиваться в таинственный шорох камыша, в шелест листьев, в беспечное чириканье разномастных птиц, ступать по плотному, пружинящему травостою, наблюдать, как перед закатом, точно с праведной работы, возвращаются с выпаса стадо коров и отара овец, окутанные облаком степной пыли, просвечиваемой насквозь золотистыми солнечными лучами, любоваться причудливой игрой марева у горизонта далеко-далеко за березовыми колками.

Старик живо представлял себе привычные картины аульной жизни и те благословенные времена, когда душа и память не были обременены сомнениями и тревогами, не знали изнурительной масты. Ах, славное было время! И зря его ныне хают иные досужие борзописцы в угоду то ли идеологии, то ли своих временных хозяев-благодетелей.

Е-е... что и говорить, мимо чего-то светлого, доброго, нежного и достохвального мы невзначай, сами не ведая, как прошли, проехали, проскакали, гонясь за призрачной мечтой.

Старый мугаллим вздохнул. Кому о том теперь поведаешь, кому расскажешь, кому изольешь душу? Не поверят. Высмеют. Ностальгия, скажут, старческая тоска по прошлому, по невозвратному.

Странный гул, грохот, визг, барабанная дробь и собачий лай донеслись со стороны площади Чокана.

Что такое?

С балкона было видно, как толпы людей с транспарантами, флагами, портретами в черных рамках стекались со всех сторон к подножью памятника. Площадь перед бывшей Академией наук оказалась оцепленной полицейским патрулем, а по краям расставлены громоздкие тумбы, обтянутые синей материей, по углам импозантного здания сбились в группки омовцы. Посередине площади с ревом неслись четыре полицейские «Жигули», выделявали головокружительные зигзаги, виражи, изрыгали клубы дыма. С одного боку сквера с высоченного пьедестала, ничего не понимая, напряженно всматривался в Восток Александр Пушкин, задрав подбородок и демонстрируя жилистую, крепкую шею. А на центральной площади, по соседству, внимая дикой какофонии и глядя выше толпы, застыл в задумчивости и недоумении Чокан Валиханов. Усиленный динамиками жуткий рев все нарастал, ширился, толпа что-то кричала, колыхалась, двигалась под знаменами и транспарантами, надписи которых с балкона нельзя было различить.

Мамбета Казиевича осенило: накануне оппозиционные партии и движения оповестили горожан о своем намерении провести День памяти жертв политического террора. Злодейская казнь видного политического деятеля всколыхнула всю страну. И об этом подлом тройном убийстве с непосредственным участием специальных служб и высоких государственных чиновников писали все газеты, говорили известные люди, передавали по телевизионным каналам и распространялись разные слухи и домыслы. Передавали также, что акция эта не санкционирована властями, на площади Чокана проводить ее категорически запрещено и городским акимом, и прокуратурой, собираться горожанам для поминовения убиенных дозволено только на краю города, в районе кинотеатра «Сары-Арка» в специально отведенном сквере согласно заявке о проведении митинга заблаговременно за десять дней с указанием фамилий, имен, адресов организаторов, количества участников, темы и содержания выступлений ораторов. Таков, мол, закон, и нарушать общественный порядок строго запрещено, и противоправные поступки рассматриваются стражами порядка как уголовное преступление.

Значит, оппозиционеры решили выказать характер, пошли на риск, вознамерившись твердо наперекор властям провести акцию скорбного поминовения. Однако, видно, и власть, несмотря на растерянность в последние дни, надумала показать, кто хозяин положения.



Мамбет Казиевич быстро оделся и спустился вниз. Помахивая тростью, влился в толпу и пошел к площади у памятника Чокану.

Дикая, оглушительная музыка в стиле techno, усиленная динамиками, докатывалась до ближайших кварталов. Народ все пребывал и пребывал. Полиция рассыпалась цепью, потом встала полукругом, плечом к плечу. Молодые ребята явно аульного вида чувствовали себя неловко, отводили глаза. Возле автобусов, ставших по углам Академии, изнывали в нервном возбуждении омоновцы, одетые в черные формы типа «ночь». В толпе сновали озабоченные хмыри, переговаривались по мобильникам, кого-то спешно информировали. На площадке, огороженной тумбами, кучковались школьники-картингисты. Видно, их собрали второпях с моделями и картингами, и они растерянно жалась к своей учительнице, которая, должно быть, быстро сообразила, с какой целью ее вызвали и вскоре увела своих подопечных от греха подальше. Тут же появились кружковцы-авиамоделисты. Ребята из ассоциации каскадеров начали разогревать моторы машин.

Митингуйте, братцы! Поминайте убиенных под этот гул, грохот, визг, скрежет.

А люди, несмотря ни на что, шли и шли, чтобы почтить память убитых сограждан.

Бравый полицейский в чине полковника, выпучив глаза и топорща усы, то и дело суетливо отбегал в сторону с телефонной трубкой, кому-то докладывал обстановку, покрикивал на своих подчиненных, заставлял их встать цепью. Полицейские подтягивались отовсюду, видно, плохо соображая, что от них требуется в этом людском водовороте. Толпа ширилась, росла, шевелилась, колыхалась, роилась. Мамбет Казиевич увидел многих знакомых с белой петличкой, перетянутой черной траурной ленточкой на лацканах. Там-сям кучковались известные журналисты, руководители разных движений, мелькали фотографы, операторы. Над головами собравшихся развернулись транспаранты: «КНБ – кому ты служишь?», «Позор кровавой демократии!», «Убийц к ответу!», «Президент, уйми своих псов!»

Нервное напряжение нарастало. Слышались возмущенные голоса:

- Какое кошунство! Бесстыдники!
- Устроили бардак!
- Обнаглели! Охамели!



– Совесть совсем потеряли! Что, теперь и покойников помянуть нельзя?!

– Убивать закон есть, а помянуть – незаконно?!

– Народ стравливают!

– Это разве акимата площадь? Это площадь народа. И он вправе собираться, где и когда хочет.

– Позор! Срам на весь мир!

– Демократия называется...

Разъяренная пожилая казашка прошлась вдоль полицейской цепи, вглядывалась, как полководец, в постные, сумрачные лица молодых полицейских-казахов, гневно выговаривала им:

– Что стоите, остолопы? Против своих единокровников пойдете? Меня дубинкой своей дубасить будешь? Совесть-стыд есть?! Или ты не от матери родился? У, ничтожества! Материнское молоко осквернившие! Как детям своим в глаза посмотрите?!

Полицейские молчали, отводили глаза, хмурились, переминались с ноги на ногу, прижимались друг к другу.

– Ничтожества! Уй, жаман неме! – все более распалялась бабка и трясла кулачком перед носами вконец смутившихся молодых стражников порядка. – Неужели не боитесь проклятия народа, божьей кары?!

– Апа, уймитесь... К чему все это?.. – пробубнил молоденький полицейский, косясь затравленно по сторонам.

– Это наша служба, апа... – заступился второй за однокашника. – Наш хлеб... Нам ведь родителей кормить надо...

– У, провались такая твоя служба! – не унималась бабка.

Вдруг выключили дурную музыку. Микрофон прохрипел:

– Говорит заместитель прокурора города. Граждане, расходитесь. Митинг ваш не санкционирован, незаконен. Вам отвели время с 12-ти до 13-ти часов в другом месте.

– Сам иди туда, законник! – закричал кто-то из толпы.

– По статье закона о митингах и массовых демонстрациях вы привлекаетесь к уголовной ответственности. Расходитесь немедленно!

– Как бы не так! – неистово загудела толпа. – Позор!

– По-зор! По-зор! По-зо-о-о-р!!

Тут же опять на всю мощь включили какофонию – визг, грохот, барабанный бой, вой, гул, лай собак.

В толпе люди не слышали друг друга.



- Вот ссособаки-и! Что делают, а?!
- Злят народ.
- Доиграются!
- Испугать думают. Черта с два!
- Привыкли нас за быдло считать.

Мамбет Казиевич потолкался в толпе, прислушался к нарастающему ропоту, к гневным репликам, всматривался во все более суровеющие лица собравшихся. Колонны со знаменами и транспарантами теснее сомкнулись возле памятника Чокану. Все ждали начало митинга. Но динамики, надрываясь, изрыгали поток гнусных звуков на толпу, точно собирались оглушить всех собравшихся. Полиция тоже продолжала стягиваться и мобилизовываться. Омоновцы в предвкушении стычки переминались с ноги на ногу, нервно сжимали резиновые дубинки. И опять на минуту воцарилась тишина. И опять прозвучал голос представителя акимата:

– Граждане! Митинг ваш не санкционирован, незаконен. Разойдитесь!

И вновь яростно взревела толпа, заскандировала дружно:

– По-зор! По-зор! Пааа-зооорр!!

И еще раз пять с небольшими паузами зампрокурора города тщетно уговаривал толпу немедленно разойтись, угрожал уголовными санкциями. Люди не расходились, наоборот, прибывали. Приехавшие из-за кинотеатра «Сары-Арка» доложили возбужденно, что власти перекрыли дорогу, сняли с рейса автобусы, отчаянные смельчаки с окраины города добрались до центра на такси.

Зачитали по микрофону разъяснение закона прокурора города Алматы:

– Признавая право граждан на организацию подобного мероприятия, акиматом города Алматы в соответствии с решением XVII сессии маслихата города...

– Позор! Пааа-зооорр!!

– ... с предоставлением сквера за кинотеатром «Сары-Арка»... Разъясняю...

– Долой! Дооо-лооой!!

– ... будет считаться незаконным... Расходитесь!

– Позор! Позор! Дооо-лооой!!

– Просим немедленно расходиться! – захлебывался микрофон.

– ... может повлечь для ее организаторов и участников административную ответственность по статье 373 Кодекса...

– Позор! Позор! Долой!



Толпа ярилась, почувствовав силу и единство. Грохот неистовствовал, заглушал голоса. Усатый полковник забежал, как ужаленный. Милицейские машины взревели длинным гудом.

— Я приехал из Кирова. Хотел помянуть убиенных. Мне до политики дела нет, — в который раз толковал собравшимся ветеран в распахнутой турецкой дубленке, позвякивая орденами и медалями. — Это же не по-людски. Не по-мусульмански. Разве так можно?!

— А я из Сары-Агача, — вторил ему пожилой казах в китайской куртке и киргизском аир-калпаке. — Я знал Сарсена. И отца его знаю. И вот...

Прошло минут сорок. Открывать траурный митинг не позволяли. Мамбет Казиевич видел, как собрались в кучу и советовались организаторы Дня памяти и руководители движений и партий. Лица их были знакомы по фотографиям в газетах, по выступлениям по телевизору. Должно быть, они приняли какое-то решение. Колонны медленно перестроились и двинулись на площадь. Полицейские насторожились, сомкнули теснее ряды, изготовились к стычке. Их команды оробело переговаривались по мобильникам.

Толпа молча и сурово выдвинулась на площадь и свернула направо. Послышалось:

— Не паникуйте! И не подавайтесь провокации!

По динамикам обрушились отчаянные крики, визг, грохот, рев, лай, барабанный бой, выстрелы, бьющие по нервам. Толпу провоцировали на срыв, на стачку. Омоновцы рвались в бой.

По толпе прошел ропот:

— Двинемся на площадь Республики.

— Не расходитесь!

— Не паникуйте, товарищи!

Полиция растерялась. Такой поворот не был предусмотрен. Омоновцы лихорадочно нырнули в автобусы, чтобы где-то впереди перехватить шествие. Опрокидывая по пути железные заслоны, шествие неторопливо продолжалось. Осведомители-сексоты в штатском засуетились, забежали, ждали распоряжения. Мобильники уже не отнимали от ушей.

Толпа, грозная и решительная, возраставшая новыми участниками, особенно из числа молодежи, свернула с улицы Курмангазы на улицу Фурманова.

Полиция опомнилась, спохватилась, перестроилась в длинную цепь и тяжелой рысью побежала сбоку толпы. Бе-



жали полицейские неуклюже, нехотя, устало, еле волоча сапоги, и толпа весело подбадривала их, улюлюкала:

- Эй, давай, давай! Шире шаг!
- Быстро! Шнель-шнель!
- Айда, айда! Штаны не потеряй!

Полиция пыталась было обогнать шествие, перегородить дорогу, встать заслоном, но, видно, растерялась или не решилась. И указания сверху не было. И настрой толпы ее явно смутил.

- Эй, салпанкулаки! Вислоухие!
- Ай, бишара! Сорлыбаюшки!
- Бедные, ради куска хлеба...
- В штаны, что ли, наложили?! – смеялась, ликовала толпа, опьяненная смелостью.

- Лучше бы баранов пасли, а не людей.
- Холуи!
- Отщепенцы!
- Дармоеды! Говнюки!

Старому мугаллиму стало не по себе. Сердце зачастило, подкатывало к горлу. Ноги подкашивались. Он понял, что до площади Республики не дойдет. Отошел на обочину, опираясь на палку и глядя вслед удалявшейся толпы демонстрантов. Встречный поток машин загудел во все клаксоны, приветствуя возмутителей общественного порядка. Полицейские, не в силах остановить шествие, обреченно брели по обе стороны толпы. Видно, их руководство ждало указания сверху, а там, должно быть, не знали, как быть. Два автобуса с омоновцами, опережая шествие, рванули на площадь.

Мамбет Казиевич побрел назад к опустевшей площади Чокана. Несколько полицейских сидело на тумбах, скучающе глядя вдаль. На просторстве, огороженном тумбами, четыре милицейские машины устроили догонялки на безенной скорости, демонстрировали каскадерские штучки, угрожая перевернуться.

– Что это? – спросил Мамбет Казиевич у брюхастого полицей.

- Учение, – буркнул полицей.
- Чье?
- Наше!
- Именно сегодня?
- Именно сегодня, аксакал.
- Е-е... ладно. Не сердись. Я ведь просто так спрашиваю. Откуда родом?



– Вам зачем? Я при службе.

– А-а... ну, ладно, айналайн, служи, служи...

Уборщики в оранжевых жилетах выросли, как из-под земли, принялись сгребать мусор – затоптанные цветы, обрывки газет, клочки лент, лопнувшие воздушные шары, окурки. У подножья памятника Чокану среди букетов роз и гвоздик стояли прислоненные к пьедесталу портреты в черных рамках. Уборщики постояли возле них и оставили на месте.

Мамбет Казиевич посидел на тумбе рядом с хмурым и молчаливым полицейским, поглазел на круговерть полосатых машин и, унимая боль в сердце, попеременно бросая под язык валидол и нитроглицерин, медленно побрел домой.

Кому все это нужно было? Кому понадобилось именно в этот день демонстрировать силу? Зачем надо было раздражать людей? Они ведь собирались мирно помянуть убиенных. Выразить свои человеческие, гражданские, мусульманские чувства. Неужели власть увидела в этой мирной демонстрации опасность для себя. Ай, вряд ли, вряд ли... Просто хотелось припугнуть азаматов из оппозиции. А они, видно, оказались не из робкого десятка.

С поникшей головой брел старый мугаллим к элитному дому.

То, что он видел сегодня, потрясло его.

А вечером ожидало его еще одно потрясение.

Никогда Мамбет Казиевич не видел свою келин столь раздраженной и яростной. Приехав с работы раньше времени и еще не переодевшись, не облачившись в свой пышный халат, Зухра заметалась по дому и куда-то торопливо звонила, срывающимся, захлебывающимся от негодования голосом кричала:

– Ну, негодница! Ну, шлюшка! Какая стервешка, однако!

– А этот-то, а? Козел! Подлец! Казанова задрипанный! Как он посмел?! О-о-о!

Напуганные ее гневом, разбежались Ольга и Вильма. Мамбет Казиевич, прислушиваясь к воплям невестки, боялся выглянуть из своей комнаты. О, Аллах, что же могло случиться? Кто осмелился переступить дорогу его взыскательной сноти? Зухра, взлохмаченная, вся взъерошенная, на мгновение выросла у двери, сверкнула черными глазами, спросила хрипло:

– Где ваш сын-недотепа шляется. знаете?!



– Н-не знаю, – прояммлил Мамбет Казиевич, задетый за живое «недотепой».

– Деятель! – презрительно процедила сквозь зубы тонкогубая Зухра и захлопнула дверь.

– Слышала, слышала, Карлыгашка? – тут же надрывалась Зухра по мобильнику. – Ну, конечно, слышала. Все уже давным-давно знают, кроме меня. Какой, однако, номер выкинул этот хам! Ну, и подонок! Мерзавец! Кобелина! Где это видано?!

– Алё! Алёу! Бигайша, это ты? Какое у меня горе, какое горе! Слышала, слышала, что отчебучила моя дочь, негодница! Соплячка!... На кого позарилась! С какой сволочью спуталась!

Старик обомлел. До него только теперь дошло, о чем речь. Он-то полагал, что между супругами что-то стряслось. Неужто, думал, Бахыт что-то накуролесил? Ему сейчас вроде не до левых походов. Он и так вечно ходит, как потерянный, смурной. То ли непосильный груз взвалил на плечи, то ли нелады пошли на работе. Видно, нелегко тянуть два воза – службу и бизнес. Да и сидеть приходится одновременно на двух стульях. Похоже, там, наверху, не очень-то им довольны. Особенно с тех пор, как он близко сошелся с Авелем, Жаном, Сарсеном. Или какому-то серому кардиналу не угодил? Должно быть, и там, на вершине власти, все передрались и друг другу козни строят. Черт знает что! Бахыт никогда ничего не говорит, но можно догадываться, что его постоянно что-то гнетет. Особенно в последнее время после злодейского убийства Сарсена и двух его товарищей сын ходит, как в воду опущенный. Мамбет Казиевич невзначай услышал утром на кухне, как Бахыт кому-то по мобильнику горько посетовал: «Нас поодиночке, как куропаток, перестреляют...» Эта фраза не выходила из головы Мамбета-мугаллима. Кто перестреляет? За что? Кого перестреляют? С какой стати? Во имя чего? Что все это значит? Кто кому мешает? Что не поделили славные азаматы? Видно, ему, Мамбету Казиевичу, это не понять.

Но с чего вдруг вскинулась сноха? У ней же вроде никаких проблем. Сплошное благополучие. И салон красоты, и все ее ателье мод для избранных вроде как процветают. И сама слывет светской львицей. И купается в достатке и славе, в везении и преклонении. И никаких напастей у ней просто быть не может.

Сидя в своей комнате и прислушиваясь к буйству невестки, к ее крикам и воплям, доносившимся то из кори-



дора, то из кухни. Мамбет Казиевич вскоре смекнул, что причиной иступленной вспышки Зухры вовсе не Бахыт, а таинственное исчезновение строптивой Лауры.

Уже недели три Лаура редко показывалась дома, ночевала, по ее словам, то у подружек в общежитии, то у кого-то на квартирке готовилась к экзаменам, то участвовала в каком-то походе в горы с ночевкой, и никто в доме тому особого значения не придавал. Эка невидаль! Девке скоро двадцать, в самом соку, видная, дерзкая, самостоятельная. За себя постоит. За словом в карман не полезет. Захочет – любого ловеласа отбреет. Вправе распоряжаться собой, как хочет.

Но однажды Зухра-ханум заподозрила что-то неладное. Дошли до нее слухи, что ее взбалмошная красотка-дочь вовсе не в общежитие с подружками к экзаменам готовится, а сняла неподалеку от университета квартиру, где наверняка с кем-то крутит любовь. Потом Зухра сообразила – о, страшно подумать! – что любовь кокетка Лаура крутит не с каким-то сокурсником, не с преподавателем, что можно было еще понять, а с самым неисправимым бабником Сержем. Вот подлец! Матерью пресытился, а на дочь позарился! Вот почему он стал избегать в последнее время свою прелестную пэри. Неспроста, видно, и фирму сменил, исчез куда-то, не звонит, не показывается. И вот сегодня, похоже, ее худшие предположения подтвердились. Напала-таки на след. Убедилась в коварстве друга семьи и в шашнях негодной соплухи-дочки. Это надо же! Нашла, дурочка, с кем шуры-муры водить. На что рассчитывает? На тугие грудки и твердую попку? Так этого кобелину этим долго ли удержишь? Уж коли она, искушенная в любви зрелая ханум, неотразимая чаровница, упустила его из цепких своих рук, то куда эта самонадеянная дуреха лезет?! А ведь знала негодница, давным-давно знала о романе матери с этим хлыщем-угодником, хмырем скользким, козлом самовлюбленным. Знала, знала, а подалась его льстивым, лживым словам, соблазнилась маминым хахалем. Какое унижение! Какой позор! Какое коварство! Наверняка слухи об их похождениях гуляют по всему городу. На каждом углу, Аллах свидетель, гу-гу, шу-шу, хи-хи, ха-ха. Вот уж возликуют завистницы! Всякие там карлыгашки и бигайши. Вот уж почешут зубки: бравая дочка ловко увела дружка у матери, заманила в постель. У-у-у!..

Зухра бушевала, неистовствовала весь вечер. Искала по телефону и подлую дочь, и коварного изменника Сержа, но



тщетно. Ей не терпелось поделиться своим возмущением с Бахытом, будто он мог бы ей чем-то помочь. Но Бахыт вернулся домой лишь полночь, хмурый, очень встревоженный и сразу заперся в своем кабинете.

Арыстан тоже запозднил. Пришел, бросился к холодильнику, звякал посудой, потом надолго укрылся в ванной комнате, плескался, громко фыркал, а выйдя оттуда довольным, сияющим, розовым, заглянул к Мамбету Казиевичу.

– Добрый вечер, сэр Песталоцци, Ушинский и Ибрай Алтынсарин в одном лице! Пламенный педагогический привет! Как поживаете?

Мамбет Казиевич привык к подобной манере внука, и ничему не удивился. А вот что за полтора-два года внук вытянулся, возмужал, превратился в развязного парнягу с пробивающимися усиками, заметил впервые.

– По-казахски шукур. А по-русски сказать – не очень.

– Что такое?

– Да сердце шалит, Арыстанчик... Давление подскочило.

– Нервы, почтенный, нервы! – снисходительно заключил внук. – Нехватка положительных эмоций. Нельзя все время заниматься самоедством и предаваться мировой скорби... А что, сэр, происходит в доме? Предки на месте? Отчего такая выморочная тишина? Офелия не объявлялась?

– Нет, – ответил Мамбет Казиевич, сообразив, о ком речь.

– И великого финансиста нет?

– Нет.

– Хм-м... Уж полночь близится, а Германа все нет... А королева Гертруда?

– Мама сегодня что-то не в духе...

– А-а, – скривился Арыстан. – Ущемленное женское самолюбие.

– Что-о?! – удивился Мамбет Казиевич. – Что это значит?

– Это значит, – посерьезнел Арыстан. – Это значит банальная интрижка: две красотки не поделили одного хахаля.

– Спаси Аллах! Что ты мелешь?!

– Не мелю, господин устаз, а подтверждаю то, что знают все. И не первый день. До Гертруды информация дошла явно запоздало.

Арыстан поморщил лоб, потер переносицу, направился к двери и, обернувшись, спросил:



– Может, врача вызвать? А то вид ваш, сэр, вызывает тревогу.

– Не надо... Пройдет...

– Тогда спокойной ночи! О ревуар!

Арыстан вышел. Выморочная тишина обрушилась на Мамбета Казиевича. Он промаялся всю ночь, глотал таблетки, измерял себе давление, шупал пульс, прислушивался к звукам.

К утру ему стало совсем худо. «Скорая» установила гипертонический криз и увезла его в больницу.

Глава шестнадцатая

О том, что в Германии нет зимы, Карл Деграф слышал и раньше. Теперь он убедился, что в Германии нет и лета. Хмурые, кудлатые тучи назойливо роились над головой, время от времени исходили дождями. Низко над землей стелились, зыбились, волоча набухшие шлейфы, сизые туманы. Заплаканное, нищенское солнце неприкаянно бродило среди слоистых облаков, лишь изредка одаривая людские толпы скудным теплом и блеклыми лучами. Высоко над грядami туч иногда ослепительно посверкивали молнии и ворчливо раскатывался гром. Местные привыкли, приспособились к причудам природы, не расставались с зонтами, легкими куртешками, прозрачными накидками, неуклюжей обувью на платформе.

Переменчивая погода изнуряла Карла Деграфа, привыкшему к яркому степному солнцу, к ровному, ласковому ветру Сары-Арки, к бескрайнему раздолью и высокому голубому небу. Волглый воздух и удушливая испарина набухшей земли затрудняли дыхание, а тучи ощутимым грузом давили на плечи, и порой голову стискивало, точно обручем.

Первое время Карл ловил себя на том, что ему неодолимо хочется раздвинуть горизонт, выбраться из теснины, разогнать постылые тучи, подняться выше-выше к солнцу.

Поначалу все было внове: и игрушечный, весь обклеенный разноцветными рекламами веселый трамвайчик, пробегавший по несколько раз на дню мимо углового пятиэтажного дома, в котором жил Эдвин, и широкая мостовая с бесконечными кафешками и ресторанчиками, закрытыми и открытыми, выходящими на тротуар, под тентами, с крохотными столиками и массивными стульями, с длинным рядом подвальных магазинчиков, с толпами местных



и приезжих, сновавших взад-вперед и галдевших бог весть на каких наречиях, и поражавшие степняка чистота и опрятность, царившие всюду и на каждом шагу, и улыбочивый, общительный, разномастный люд, и стайки патлатых, расхристанных юнцов и нечесаных, нарочито небрежно одетых в обвислые свитера и потертые, рваные джинсы девиц, постоянно что-то жующих и пьющих на ходу, и переливчатый звон колокольчиков над ближней кирхой, и пожилые, но бодрящиеся туристы, высаживающиеся из расписанных вагончиков пригородных электричек.

В первые месяцы приезда в Германию Карла Деграфа особенно утомили бесконечные хождения и шатания по амтам-учреждениям. Боже, он даже не представлял, что немцы в такой степени неисправимые, дотошные, докучливые педанты и бюрократы. Немецкий бюрократ оказался всем бюрократам бюрократ. На все на свете нужны были бумажки, расписки, справки, отчеты, подтверждения, свидетельства. Казалось, этой волынке не будет конца. Вспоминался ходжа Насреддин: когда кончится мой «а-ляу-ляй», начинается еще «ха-ляу-ляй». Поток бумаг и циркуляров старательно заполняли и Элвин, и Эльма, и Зельма, и дочки дядюшки Фридриха – Катенька и Лизанька (они уже стали степенными бабушками, но их продолжали по старой памяти называть так уменьшительно-ласково), которые давным-давно перебрались в Германию и больше всех знакомых онемечились. Пять человек усердно шкрябали пером, чтобы выправить и упорядочить по всем германским правилам и законам бумаги одного старого казахстанского немца.

За эти месяцы блуждания по амтам Карл Деграф возненавидел чиновников, рассеявшихся по всем дырам и дотошно, пристрастно выяснявших, кто он, откуда, где родился, где жил и работал, в каких органах служил, в какой мере вписался, точнее, интегрировался в коммунистический режим, какими пользовался привилегиями, зачем приехал, на что надеется, на кого уповаает, кто о нем позаботится, какой придерживается веры, свободно ли владеет языком, знает ли немецкие обряды и обычаи, празднует ли немецкие праздники, поет ли немецкие песни, и этот убийственно вежливый, унижительный, с подковырками, с ужимками и ухмылками садистско-изошренный допрос с письменными подтверждениями и заверениями длился неделями, месяцами и исподволь доводил Карла до белого каления. Однажды доведенный подобными расспросами до истери-



ки костлявой, въедливой, чопорной и чванливой мадам из службы с длинным и несуразным названием, Карл сорвался на крик и помимо воли обрушился на нее по-казахски:

– Эй, сен, мыстан, неге мені тергейсін?! Ә?! Бұл не?! Әлде сенін әкенді өлтірген мен бе? Ә?!¹

Это получилось так неожиданно, что присутствующие в чистом, ухоженном закутке амта застыли в изумлении: с таким напором на таком языке здесь никто никогда не выражался. Остолбенел и Эдвин. А Карла колотило от ярости и обиды. Лишь потом спохватился, опомнился, что возмущается на казахском языке перед этой непроницаемой мадам-мыстан с крашенными жидкими кудряшками, растерялся, осекся и, побагровев, кинулся вон.

– О, майн Готт! – воскликнула вслед мадам-мыстан. – И вы утверждаете: он немец?! Это же дикарь необузданный! И таких должна принимать Германия?! С таким контингентом я должна работать?!

Дома Карл Деграф, чуть успокоившись, заявил Эдвину:

– Все! Мое терпение лопнуло. Отныне ни в какие амты! В гробу я всех видел с их законами! Или сами все оформляйте, или еду назад. Что это такое, в самом деле? Я что, христарадничать приехал! Я к детям своим приехал! И нечего из меня дурака делать!

Все его раздражало. И особенно дурацкие слова, которые он твердил и во сне: Арбайт, Воунунг, Фюрершайн, Айнглиздерунгегельд, Унтерхальтунсгельд, Социалхильфе, Арбайтсамт, Воунунгсамт, Социаламт, амт, амт, амт, гельд, гельд, гельд.

Провались все пропадом!

Дети придели отца с ног до головы на германский лад: клетчатые брюки в обтяжку, просторные сорочки, свитера, плюшевую жилетку, ботинки на платформе, спортивные босоножки, галстуки-кашне, твидовый пиджак, широкополую шляпу. В таком прикиде Карл сам себя не узнавал. Ни дать ни взять – фрайер! Или артист из самодеятельного ансамбля «Видергебурт». Никак не похож на тракториста из степного аула у озера с одинокой турангой.

– Ну, вот, – восхищались Эльма и Зельма. – Теперь тебя от коренного германца не отличишь!

В зеркале смотрел на Карла Деграфа старый чудака в обнове – с длинным, облупленным носом, усталым, из-

Эй, ты, ведьма, чего меня допытываешь? А?! Что это такое?! Или я убил твоего отца? А?! (каз.)

борожденным морщинами-складками лицом и темной от степного загара тонкой жилистой шеей.

— Обезьяна обезьяной, — ухмыльнулся Карл. — Дайте еще банан в лапу и сходство будет полное.

Чтобы ощутить себя доморощенным германцем, Карл Деграф в европейском наряде фланировал задумчиво и отрешенно по близким улочкам, принимал беззаботное выражение, выпучивал глаза, будто только что накачался пивом, удивленно взирал, однако, на диковинные, красочные, аккуратные домики с черепичными крышами, посещал скверы, кнайпы, площади, бульвары, выдавливал из себя расхожие немецкие слова, но чувствовал по взглядам прохожих, что производит впечатление пришельца-чужака, неуклюжего и растерянного, что от него точно с опаской шарахаются, а стоило невзначай разинуть рот и о чем-то спросить, как тут же вежливо, то-ле-рант-но шерились: «Ах, аусзидлер?!» Тавро чудака, как каннова печать, бросалось издалека. А деревянная, скованная немецкая речь выдавала его с потрохами. Он понял: лучше вообще прикинуться глухонемым.

Карл облюбовал открытое, под тентами кафе на площади недалеко от железнодорожной станции. За столиками с утра до ночи сидел праздный люд. пил пиво, кофе, соки, лакомился мороженым, иногда поедая горы поджаренных свиных сосисок, отдыхал, глазел по сторонам, лениво перебрасывался пустопорожними фразами или просто молчал, блаженно взирая на божий мир. Было здесь просторно и уютно. На мостовой гуртились обжорливые, раскормленные, как утки, голуби. Дети бросали им зерно, хлебное крошево. И они клевали весь день, набивая безмерные зобы. Рядом с кафе играл мексиканский оркестрик. В бездонную, выдавшую виды шляпу-сомбреро прохожие кидали мелочь. Музыканты старались вовсю, дергаясь и подпрыгивая под такт зажигательных, упругих ритмов. Разухабистая, размазанная, жгучая дива в высоченных сапогах и кожаных шортах тряслась всеми пышными прелестями и изображала страсть-экстаз. Потный, гривастый ударник выбивал судорожную дробь. На отполированных, точно лаком покрытых брусчатках весело переливались солнечные блики. От всей площади, зажатой тесными островерхими домиками, веяло довольством и умиротворенностью. Народ толпился всюду, но многие скамейки и столики перед кафе пустовали. И Карл в первое свое посещение, недолго раздумывая,



опустился на плетеный стульчик с краешка, чтобы дать отдохнуть гудевшим от ходьбы ногам.

Но не тут-то было.

Из кафе мигом подскочил, точно подкараулил, рыжий, конопатый официант в белой сорочке, белом колпаке и в кожаном, как у мясника, фартуке до самых шиколоток, ослабился, вытаращил бесцветные, рыбы глаза и на странном наречии что-то спросил, изогнувшись укоризненным вопросительным знаком перед пожилым господином в шляпе.

Карл не понял его и на всякий случай вежливо поинтересовался:

– Wie bitte?

Официант был возбужден и досадливо повторил свой вопрос, и Карл опять не понял, но догадался, что у него выпытывают, что именно он намерен заказать.

– Nichts, – сказал Карл. – Данке. Просто так. Присел немного отдохнуть.

Ответ его официанту явно не понравился. Он вдруг побагровел, как кочет, нацелившийся на курочку, еще пуше выкатил глаза и начал размахивать руками:

– Weg! Weg! Weg! Прочь отсюда!

– Но... что случилось? Почему? – недоумевал Карл.

– Weg! Weg!! – заладил официант, все повышая голос, словно в его владение невзначай ворвался неприятель.

Карл растерялся, встал. А официант продолжал возмущенно болботать, привлекая внимание публики, тараторил, как заведенный, брызгал слюной, театрально гневался, и только тогда Карл смекнул, что стулья здесь поставлены не для бездельников и ротозеев, не для праздных гуляк и нищелюбов, заполнивших страну, а для благочестивых бюргеров, которые не дурака валять сюда пришли, а отведать фирменные германские блюда и запить их отменным немецким пивом.

Ну, да... ну, да... какой разговор? Alles klar...

Но Карл ничего заказывать не желал, просто потребности в том не было, и даже никакого намерения, а потом, извинившись по-немецки и крепко выругавшись по-казахски, понуро поплелся восвояси.

Но людное местечко манило. И через несколько дней Карл вновь пришел сюда, робко занял местечко за столиками и, как только в проходе кафе показался рыжий, по-



петушиному задиристый официант все в том же кожаном фартуке, заранее вскинул руку и громко произнес:

– Bier!

Потом, полчаса спустя, заказал еще одну кружку и вдобавок пакетик соленых орешек. И Карл был доволен, и официант сменил гнев на милость.

Место было дивное. И приятно было часок-другой сидеть здесь, вслушиваясь в пестрый гул, вглядываясь в беззаботную кутерьму, человеческий водоворот на площади, наслаждаясь бодрящими, игривыми ритмами мексиканского оркестрика.

С любопытством наблюдал Карл, как немецкие «пивнуки» веселились в компании. Сдвинув несколько столиков и приняв кружку-другую на грудь, они встали в круг, закидывали руки друг другу на плечи, раскачиваясь мерно, горланили во всю мощь луженых глоток:

*Bier her! Bier her!
oder ich fall um, juch-he!*

И после задиристого, ликующего возгласа: «juch-he!» орали с пушей силой.

*Bier her! Bier her!
oder ich fall um.*

Потом выводили озорно:

*Soll das Bier im Keller liegen,
und ich hier die Ohnmacht kriegen?*

И заканчивали во всю хмельную одурь:

*Bier her! Bier her!
oder ich fall um!*

И никаких забот, никаких комплексов, никакого горя. Веселимся, братья! Подавай немедля пива! Даешь пива! Не то я рухну без сознания! И что, в самом деле?! Пиво должно в погребах лежать, а я тут от жажды умирать?! О, нет! Немедля подай сюда пиво! Bier her! Bier her!

И вся застольная песенка – немудреная, лукавая, озорная, бодрящая.

Карлу нравилось, как местные – как правило, плотные, упитанные – немцы лихо поют, весело пьют и при этом разум не теряют. И он, случалось, про себя мурлыкал: «Bier her! Bier her! oder ich fall um.»



Приходить сюда каждый день было, однако, накладно. Две кружки пива ежедневно оказались для аусзидлера – пенсионера слишком дорогим удовольствием, и Карл стал приходить сюда дважды в неделю и заказывать лишь по одной кружке любимого темного пива.

Вокруг говорили на всех наречиях мира, шутили, балагурили, однако ни одного казахского слова Карл так и не услышал.

И однажды – вот чудо! – мимо него, на расстоянии протянутой руки, прошла-проплыла группка добротного одетых смуглых мужчин, и их предводитель, степенный толстяк с добродушным лицом вдруг произнес:

– Кішкене аялдайық, жігіттер. Уақыт әлі бар ғой.¹

Карл встрепнулся, вскочил, громко спросил:

– Оу, бауырлар, қайдан жүрсіндер?²

Группа остановилась. Широколицый толстяк расплылся в улыбке.

– Барекельды! Кажется, наш земляк?

Все разулыбались, обнялись, будто братья. Быстро познакомились. Выяснилось: руководители казахстанской делегации, приехавшие на Дни казахской культуры в Германии. Остановились в Бонне. Перед турне в Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Потсдам решили заехать в Линц просто так, чтобы походить, проветриться, поразмять кости. Земляку обрадовались и тут же повели его в соседнее уютное кафе бразильской четы, заказали пиво, бифштекс, какое-то рыбное блюдо с экзотической приправой. Хозяева ликовали. Дастархан получился щедрый, разговор – дружный и громкий. У Карла от радости закружилась голова.

Земляки, как водится, и песни спели, и наговорились всласть, а на прощании всучили два пакета со всякими напитками и яствами – «саркыт» для детей и внуков от дастархана по случаю приятной встречи с земляками в захолустном германском городке. Да еще доставили Карла Деграфа домой на посольской машине.

Всю неделю ходил потом Карл Деграф помолодевший, гордый и счастливый. А от гостинцев казахской делегации домохозяицы пришли в восторг.

– Такой щедрости от немцев не дожدهшься, – ликовал Карл. – На такое только казахи способны.

По воскресениям дети Карла, дочери дяди Фридриха,

¹ Немного передохнем, жігітты. Время-то еще есть. (каз.)

² Оу, братья, откуда вы взялись?! (каз.)



соседа по казахстанскому бараку, анекдотчик и балагур Оскар-меннонит, набив сумки всякой снедью, запасавшись вдосталь водкой и пивом, отправились на природу. Это была давняя, крепкая компания, и вылазки стали традиционными. Эдвин брал с собой аккордеон, дородная Катенька – гитару.

В черте городка раскинулась чудесная полянка, похожая на уютный парк, обрамленный липами и другими диковинными деревцами, подстриженными причудливо, экзотическими кустами. Вдоль дорожек, посыпанных песком, стояли деревянные, крашенные скамейки, вокруг простирались зеленые, ухоженные газоны, клумбы. (Карла удивляло, что скамеек никто не ломал, не исписывал непристойностями, газоны не загаживали, а клумбы не истоптали. И в России, и в Казахстане такую прелесть разворотили бы мигом). В глубине парка темнел старинный сумрачный замок XVII века, в котором – уверяли местные – обитали одни призраки. Замок был важной достопримечательностью городка. Недалеко от замка на постеленных поверх плотного травостоя подстилках и располагалась ватага беззаботных аусзидлеров и забавлялась-гудела на свой салтык, как на редких пикниках на полянках возле березового колка в Казахстане. Разложив снедь на полотенцах, выставив затейливой формы бутылки, компания медленно разогревалась. Приняв по одной в честь вольной жизни на земле предков, толстушка Катенька начинала настраивать гитару и перебирать струны, пробовать голос, Эдвин доставал аккордеон, Оскар, по обыкновению похохатывая и остря, травил анекдоты. Карл Деграф встревоженно оглядывался по сторонам, осознавая, что они наверняка нарушают порядок, мнут траву не там, где положено, и вообще слишком вольно, раскованно, шумно себя ведут, удивляя и раздражая редких прохожих из местного населения. Пикники эти ему особенно не нравились с самого начала. Плоские шутки, дурацкие разговоры ни о чем, хвастливые, самодовольные реплики по поводу своего благополучия и несчастной, постылой жизни неудачников-соплеменников, вынужденных по своей глупости и нерасторопности прозябать в захолустьях Казахстана или Сибири, глумление над своим прошлым в ссылке, горластые песни, переходившие по степени опьянения в ор, а потом разухабистые частушки с визгом, с пляской, с надрывом, со слезами, со сквернословием и сочным русским матом – все это огорчало и раздражало Карла. Однако, он видел, что дети стараются для него, хотят взбодрить, разве-



селить его, угодить ему, но было в этом веселье что-то натужное, нарочное, вызывающее. С одной стороны неумное хвастовство своим показным благополучием, а с другой – вызов, месть, заурядный выпендрёж за то, что все-таки не такие, как местные немцы, а с манерами, повадками и привычками чужаков, которых едва терпят по милости. И это двойственное чувство крепко сидело в душах земляков, это их постоянно грызло, тяготило, саднило и, сбившись в кампанию, гуляя на прежний лад, они ненадолго забывали про те комплексы, которые их все же одолевали изо дня в день. Старый Карл Деграф это смутно понимал.

– У аусзидлера спрашивают: «Как у тебя с немецким?», – балабонил по привычке Оскар. – «Как у собаки. Все понимаю, только сказать не могу». «О, а у меня все тип-топ. Я уже здороваюсь по-немецки»,

– Ха-ха-ха... – дружно поддержали анекдотчика.

– «Миллион, миллион, миллион алых роз», – слаженно выпевали под перебор гитары сестрицы Катенька и Лизанька.

– Русак говорит: «Немецкий язык такой бедный. половина слов, что я знаю, в их словаре нет».

– Хи-хи-хи...

– “Auf, auf, ihr Wandersleut,
zum Wandern kommt die Zeit...” – перешла Катенька на другую песню.

– О! Это что-то новое! Здесь выучила?

– Не-ет, – отмахнулась Катенька. – Старинная немецкая песня. С детства помню.

– “Tut auch nicht lang ver-wei-len,
in Gottes Nam’zu reisen“, – вступила в такт вторым голосом Лизанька.

– Молодцы! Расширили репертуар.

Карлу песня понравилась. Он ее тоже слышал еще на Волге, но слов не помнил.

– На шпрахкурсе у аусзидлера спрашивают: «Почему диктант не пишешь?» Аусзидлер: «Да я буквы не знаю, как же мне писать?»

– Э-хе-хе-хе!..

– Иах, иах!..

– Откуда, бедняге, буквы знать, когда он всю жизнь в Котырколе быкам хвосты крутил?

– У русака спрашивают: «Как твой немецкий?» Русак отвечает: «Читаю по-немецки свободно. Только не понимаю ни хрена».



– Йо-хо-хо-хоо!...

Эдвин взял аккордеон, пробежал пальцами левой по басам, заиграл любимую песню отца. Все дружно подхватили:

– Du, du liegst mir im Herzen,

Du, du liegst mir im Sinn...

И, пропев первый куплет, слаженно, в два голоса, громко затынули:

– Ja, ja, ja, ja

Weißt nicht, wie gut ich dir bin...

Пока пели, не заметили, как за спиной вырос могучий, упитанный полицай. Он тактично дослушал песню, шелкнул каблуками, вытянулся, дружелюбно всем улыбнулся и произнес коротко и картаво:

– Verboten!

Потом вежливо добавил, что любезные дамы и господа нарушают порядок, здесь, на газоне, располагаться не положено, для этого существуют скамейки вдоль дорожек и горланить во все горло тоже не рекомендуется. Ordnung есть Ordnung.

– Verstehen, – закивала головами компания.

– Энтшульдиген.

– Ja, ja, wir gehen weg.

– Сейчас, сейчас смоемся.

– Исчезнем, испаримся.

Полицай опять шелкнул каблуками, похлопал резиновой дубинкой по ноге, поправил ремень и откланялся.

– Топай, топай... к матери..!

– Балда!

– Да пошел он в ашлох! – проворчали ему вслед.

Наступившей паузой воспользовался неугомонный Оскар.

– «Шпрехен зи дойч?» – спрашивают у аусзидлера-русака. «Ja, ja... Отваливай!»

Улыбнулись анекдоту.

– «Ты говоришь уже по-немецки?» «Только со словарем. С людьми пока стесняюсь».

Рассмеялись, приходя немного в себя после визита полицака.

Тягнули. Крякнули. Закусили.

Катенька задумчиво перебирала струны гитары, нащупывала новую мелодию. Набрела на «Надежду». Проникновенно, негромко запела:

– *Светит незнакомая звезда,
Снова мы оторваны от дома...*



Песня брала за душу. Все ее помнили по исполнению соплеменницы Анны Герман.

– На-дежда – мой компас земной...

У женщин повлажнели глаза. У мужчин перехлестнуло горло. «Снова мы оторваны от дома», – шептал про себя Карл Деграф.

Он молча посасывал пиво, и веселье компании ему никак не передавалось.

А Оскар продолжал травить анекдоты.

– В Казахстане один мужчина пытался без очереди взять вино. Продавец кричит: «Ты что, умнее других, что ли?» «Да, – отвечает мужчина, – я три языка знаю!» «Тогда скажи что-нибудь?» «Варум вермут жок?»

– А-ха-ха!..

– Йо-хо-ххо-о!... – оживилась компания.

Еще раз сдвинули пластмассовые бокальчики. Вздрыгнули. Опять крикнули. Заели ананасом. Опорожненные бутылки из-под пива валялись на газоне, точно поверженные солдатики.

– Спрашивают у аусзидлера из Казахстана: «Как переводится город Алма-Ата?» «Отец яблоч!» «А как по-казахски Дед Мороз и Снегурочка?» «Колотун-ата и шалавакыз!» «А как будет Баба Яга?» «Кошмар-Апа».

– Иа-хха-хааа!..

– Ие-ххе-хее!..

– Хихи-хи-хи!..

– Господи, что тут смешного? – скривился Карл. – Глупости! Чушь!

– Ну, кому как... – осклабился, обидевшись, Оскар.

Катенька набрела вдруг на плясовую. Лизонька, уже в багровых пятнах, разлохмаченная, поправляя съехавшую на бок юбку, пустилась в пляс, взвизгнув на всю округу:

*– Как за нашим, за прудом
Громко утки, крикают.
Меня миленький е....т,
Только серьги звякают.*

– Уа-ха-хх-ааа! – залились, зарделись женщины.

Скосившись на дядю Карла и громче ударив по струнам, выдала частушку и Катенька.

*– Не любите, девки, море,
А любите моряков.*



*Моряки е...тся стоя,
У скалистых берегов.*

– Ие-ххе-хеее! И-хи-хи!..

Эдвин, должно быть, догадался, что подвыпившие женщины сейчас и вообще ударятся в похабство, и тогда с ними сладу не будет, пока не исчерпают весь российско-казахстанский репертуар.

– Ладно, уймитесь. – Он растянул меха аккордеона, кинул пальцы по клавишам. – Давайте нашу... разудалую.

И запел:

– Lustig ist das Zigeunerleben

И все подхватили во всю мощь.

– Faria, faria-a!

Подключился Оскар:

– Brauch'n den Kaiser kein Zins zu geben

И снова все дружно гаркнули:

– Faria, faria-a!

И опять, как из-под земли, вырос полицай. Серьезный, строгий, но неизменно вежливый.

– Meine Damen und Herren! Хорошо поете, слов нет. Wunderbar!.. Aber... Но место, должен сказать, выбрали неправильно. Здесь не положено. Verboten! Verstehen sie?!

– Ферштейн, ферштейн... милостивый Херр! – начал было кривляться Оскар, но полицай его игривого настроения не поддержал.

– Полагаю также, что вы не цыганский табор, хотя и прелестно воспеваете цыганскую жизнь.

– Сор-ри, айм сор-ри, mein Херр! – продолжал ваньку валять Оскар.

– Я предупредил. Ordnung muß sein!

– Но... мы ведь ничего не нарушаем, герр полицай. Мирно отдыхаем...

– Не положено! Verboten! Здесь не казахская степь и не туркменская пустыня!

– А где же ваша хваленая свобода? Где права человека? Что, уже и петь нельзя?

– Здесь общественное место.



Полицай изобразил предел возмущения. Ему было досадно, что он обязан этим пришельцам, этим бестолковым аусзидлерам с востока, не умеющим вести себя, как подобает цивилизованному человеку, этим горластым русским с дикими манерами, не знающим меры в гульбе... о, майн Готт!.. напоминать простые вещи и вызывать к человеческой совести и порядочности.

Полицай опять ушел, нервно похлопывая себя по ноге резиновой дубинкой и что-то бормоча про себя. Изрядно разогретые, почти готовые к неведомым подвигам аусзидлеры из Казахстана, вошли в кураж, вспомнили вдруг про ущемление своих гражданских прав.

– Да п-п-пошел ты в... в... вагину!

– Фашист недобитый!

– Будет еще нас порядкам учить.

– Чистоплюй! Дармоед!

– Мы тебе, блин, такой орднунг устроим, мало не покажется.

– Холуй засранной Германии!

Карлу Деграфу стало неловко. Укоризненный взгляд вежливого полицая точно прожег ему нутро. Он встал, отряхнулся.

– Я пошел... Вы хоть приберите за собой. Устроили свинарник!

Пикник разладился. Не хотелось уже ни есть, ни пить, ни петь.

– Цум Тойфель! Нашему брату и в Европе ходу нет.

Все стали спешно собираться по домам. Эдвин захватил аккордеон. Женщины собирали пустую посуду в сумки. Газон был истоптан, искорежен.

– Двое покупателей стучаются тележками в магазине, – начал Оскар очередной анекдот. – Один говорит: «Ух, бядь! Энтшульдиген!» Другой отвечает: «Ни хрена! Махт нихтц!»

– Уймись! Оставь свои остроты на следующий раз.

Ночью Карлу приснилось – уже не впервой – тягостный сон. Будто он задержался где-то в гостинице. Командировка кончилась. Срок вышел. Он должен освободить номер. И служащие отеля смотрят на него косо. Ни в столовую, ни в туалет не пускают. Он должен уехать, уехать, уехать. И вещички уложены. Но у него нет билета. И никак не сообщают, как ему добраться до аэропорта. А самое скверное: он не знает, куда лететь. Вокруг него суетятся вроде как все



знакомые. Но его почему-то в упор не замечают. Он никому не нужен. Не нужен! Он растерян, потерян. Задержался в чужой гостинице, куда неизвестно, как попал. А время от времени перед ним вырастает грозный немецкий полицейский, упитанный, рослый, в новенькой униформе и, тыча в него пальцем, рычит: «Verboten!»

Сон длился долго. Вновь и вновь.

И, просыпаясь от мучительного сна, Карл Дегграф ошалело спрашивал себя:

– О, куда-ай, где я?!

Глава семнадцатая

Из больницы, именуемой в просторечии «совминовской», Мамбет Казиевич вышел через полмесяца заметно ослабевшим и измученным. Лечили его усердно, с подчеркнутым пристрастием, и он догадался, что все врачебные услуги щедро оплачивались сыном. Вокруг Мамбета Казиевича белые халаты роем роились, благоговейно шептались: «Отец Адилова», «Какого?» «Того самого!» И врачи улыбались, высказывали учтивость и внимание, шутили: «Оу, Маке, разве жильцы элитного дома хворают?», «Это у вас, должно быть, аксакальские капризы». Сестры, санитарки увивались у его койки стайками. Мамбет Казиевич смущался, неловко было перед сопалатником, бровастым, желчным и ворчливым профессором, сходу внушавшим соседу экономическую несостоятельность независимого государства, строящего свое будущее исключительно на продаже сырья. «Эдак лет через двадцать-тридцать все кончится, и мы сядем в галоши. Правда, нам с вами уже ничего не грозит». Это профессор говорил всем и при этом устрашающе-сурово хлопал своими густыми, как усы, бурыми бровями. Своими экономическими лекциями он навевал тревогу и тоску, и Мамбет Казиевич обрадовался, когда по распоряжению главного врача его вскоре перевели в отдельную палату-люкс на четвертом этаже с телефоном, телевизором, холодильником, коврами, диванчиками-креслами, сервантом с дорогой посудой, с письменным столом. «И зачем больному такая роскошь?!» – недоумевал Мамбет Казиевич. «О, здесь обычно располагается писатель Абди Джамилев, – с придыханием объяснили ему. – Здесь он переписывает свой старый роман». В этой палате Мамбет Казиевич и проводил все больничные дни, как в заточении.



Здесь же он сдавал всякие анализы, принимал процедуры, горстями глотал таблетки, уставясь в теляшник, подолгу пил чай и листал разные глянцевые журналы, которыми исправно снабжал его насмешливый внук. Сюда же доставляли еду.

Раза три наведывался Бахыт, окруженный медицинскими светилами. Занес пухлую любопытную книгу иностранного автора «48 законов власти». Книга читалась как остросюжетный роман.

Арыстан заглядывал по пятницам, приходил с большой сумкой, набитой всякой вкусятниной, распахивал все по холодильнику, по шкафам.

– Куда это все, айналайн? – поражался Мамбет Казиевич.

– Ешьте, сэр Песталоцци. Поправляйтесь, – ерничал по привычке внук. – Что останется – саулешкам отдайте. Еще крепче любить будут.

Всех симпатичных казашек внук именовал «саулешками» и «гулечками».

– Клево, однако, устроились Алтынсарин мырза! Так болеть можно. В туалет-то хоть сами ходите или?..

– Сам, сам, – улыбнулся Мамбет Казиевич, восхищаясь расторопностью и уверенностью не по дням мужающего внука.

– Я бы на вашем месте, сэр, и в туалет не ходил. Пусть саулешки обслуживают, коли им платят.

– Е, нет, брат! Сам пророк, сказывают, в таких случаях уединялся.

– То пророк. У него не было такого комфорта. А письменный стол зачем?

– Говорят, здесь Абди Джамилев свой роман переписывает.

– А кто он?

– Абди Джамилев – писатель известный.

– Первый раз слышу. Олжаса Сулейменова знаю. Есенберлина знаю. Еще... еще Магауин есть. А Абди Джамилева не слышал

– Ну, как же. Арыстанчик? – удивился Мамбет Казиевич. – Ты что? Это большой писатель. Лауреат.

– Лауреатов тьма, а Арыстан Адилов – один, – рассеянно отпарировал внук и бросился к телефону. – Ал-лө... Это ты. Дездемона? Я – Владимир Познер. Как? Соскучилась? Сейчас нарисуюсь. Готовься. Целую. Чао!



– Что за Дездемона? – любопытствовал Мамбет Казиевич. – Казашка?

– Смазливая кызымка. А у кызымок, господин Ушинский, национальности не бывает. Бывает только пол. Ну, я двинулся. Наслаждайтесь жизнью и не тужите, великий педагог всех времен и народов. Хуп!

В больнице Мамбета Казиевича так «загружали» всевозможными медикаментами, что уже на третьи сутки все у него выправилось – и давление, и сердце, и сахар. Ежедневно по часу-два он смиренно лежал под капельницей. Чего только в него не вливали! Поначалу он каждый раз спрашивал у сестречек:

– Это что? А для чего? Куда все идет?

Потом и спрашивать перестал, решив: ай, ладно, все, что ни делают, на благо. Любая таблетка свою хворь найдет.

Плохо только то, что в палате-люксе не с кем общаться. В соседней палате изнывал от творческих мук известный обезноживший поэт, который целыми днями вымучивал афоризмы. Иногда получалось складно, иногда – курам на смех. Некоторые афоризмы казались Мамбету Казиевичу чересчур плоскими и банальными: «Если проголодался – ешь казы, а мучит жажда – пей пиво», «Фосфор в рыбе, мудрость – у народа», «Если жена умна, твой ум останется при тебе», «Предков уважай и сам не плошай», «Труд – добро, воровство – грех». От подобных афоризмов Мамбету Казиевичу становилось тошно, и он поспешно удалялся в свою палату и читал остроумные и ехидные сентенции о законах власти. Особенно восхищала его вычитанная в этой книге китайская поговорка: «Когда дерево падает, обезьяны разбегаются». Он, Мамбет Казиевич, свидетель этой истины: сколько раз в его жизни рушились мощные дубы. И как врассыпную разбегались обезьяны, удобно устроившиеся на нем. Похоже, это правило на века.

Вечерами со скуки Мамбет Казиевич звонил домой, и каждый раз трубку поднимала Вильма.

– О, ата! Как себя чувствуете? Когда выпишетесь? В чем нуждаетесь? – по-казахски мило щебетала немка.

– Шукур, шукур, айналайн, – отвечал он. – Дома-то все благополучно? Все аман-сау?

– Аманбыз, ата. Бахыт Мамбетович срочно выехал в командировку. Лаура живет в другом месте. Зухра Ганиевна приезжает поздно. Арыстан пропадает у своей девушки. Любовь крутит.

– Какая девушка? Дездемона, что ли?



- Не-ет... – замешкалась Вильма. – ее зовут Камилла.
- Не дейды?! – поразился Мамбет Казиевич – Так ты, айналайн, одна в квартире?
- До обеда – Ольга, после обеда – я.
- Е-е... Солай де...
- А вам, ата, письмо.
- Из аула?
- Нет, из Германии. От какого-то Карла Деграфа.
- Что ты говоришь! Вот это радость!

Дома в первые дни Мамбету Казиевичу стало хуже. Жуткая вялость, плохой аппетит, быстрая утомляемость, боли в желудке, потливость преследовали его. И давление, нормализовавшееся в больнице, опять начало прыгать. Происходила настоящая ломка после интенсивного лечения в стационарных условиях. Врачи выписали ему тринадцать разных лекарств, и он исправно их глотал в разное время и последовательности. Это надоедало и удручало. После больницы он чувствовал себя опустошенным.

Тут-то его позабавил Арыстан.

Придя однажды после прогулки домой, Мамбет Казиевич испугался, увидев в прихожей огромного, мордастого пса палевой окраски. Пес сразу насторожился, привстал, огромный, как теленок, выставился на старика, вывалил от изумления язык, потом дважды зевнул, глухо рыкнул, как бы приветствуя пришельца. Пес был крупноголов, с приплюсненной мордой, грузен, ухожен, раскормлен.

Из кухни показался торжествующий Арыстан.

- Ну, как мой сюрприз?!
- Ой, аллай, откуда это чудище?
- Он не чудище, он – Майкл. Добрый, мудрый дог. Высота в холке 185 см. Вес 110 кг.
- Астафиралла! И зачем он?
- Он будет вашим верным другом, поводырем, охранником, великий устаз. Он скрасит ваше одиночество. Будете вести с ним педагогические и философские беседы. Он ведь все понимает и никогда не спорит. А прохожим внушает уважение и ужас. С ним тоже никто спорить не станет. Его аргументы – клыки. Здорово, правда?!

– Может, айналайн, и здорово, но неужели ты хочешь, чтобы я на старости лет собачником заделался? Смешно и стыдно!

– Вот-те раз! Для кого же я старался? Вы только посмотрите на Майкла. Он ведь готов вам служить верой и правдой.



Выяснилось, что закадычный дружок Арыстана, вундеркинд из школы особо одаренных, укатил с отцом-дипломатом за рубеж. Ну, и доверил любимца Арыстану. А что? Квартира большая, кормежка – не проблема, дедушке-пенсионеру опять-таки забава.

Майкл вытянулся во весь рост, встряхнул себя, подошел к Мамбету Казиевичу, тыкнулся в него мордой и степенно отошел в угол

– Во! Знакомство состоялось! Встреча на Эльбе! – ликовав Арыстан. – Сократ! Платон!

– И где он, твой Майкл, поселится?

– Да у вас и поселится. Будет лежать у ваших ног и сторожить, как короля. Надежно!

– Нет, уволь, милый. Комната моя не псарня. Вот придумал!

С Майклом вышла морока. Никто в доме, кроме Арыстана, ему не обрадовался. Даже прогуливаться с ним никто не желал. И Ольга, и Вильма отказались наотрез иметь с ним дело. «Не было такого уговора – за псиной ухаживать!»

Пришлось с Майклом возиться самому Арыстану. Несколько дней он гулял с ним по улице, ведя его торжественно на поводу. Прохожие шарахались от них, дети испуганно тарашили глазенки. Огромный, раскормленный дог со свирепой мордой чудился им страшным зверем из сказки.

Однажды озорства ради Арыстан повел Майкла в школу, провел в класс, привязал к задней парте и приказал: «Сидеть!» Классная руководительница, увидев в классе дога с вываленным языком, едва не лишилась сознания. Директор сказал:

– Это, дорогой Адилов, уж чересчур оригинально!

Майкл чувствовал, что он пришелся не ко двору. Смотрел на всех сурово и укоризненно. В слезящихся глазах его застыла скорбь: «Эх, вы-и, люди! Вы хуже собак!»

От скуки и чувства своей ненужности Майкл неприкаянно слонялся по большой квартире, оставлял там-сям большие лужи и оглашал дом зычным рыком и воем.

Мамбет Казиевич пожалел Майкла, но не представлял себе, как он ходил бы с ним по аллее на смех завсегдатаев.

Кончилось тем, что Рихард отвез удрученного Майкла на виллу в горах, передав его на попечение бородатому Аслану.

А Мамбет Казиевич снова стал встречаться с завсегдатаями площади Чокана. Особенно сблизился с историком Есенаманом. Историк был человек бывалый, тертый, начи-



танный, лично знал почти всех казахских знаменитостей 40-80-ых годов прошлого века. Умел увлеченно и красочно рассказывать любопытные случаи из их жизни. Слушать его было интересно. Когда он предавался воспоминаниям о своих славных собутыльниках, светлое, мясистое, сонное его лицо одухотворялось, мышинные глазки лучились, голос обретал живые оттенки, речь становилась цветистой, перемешанной поговорками, неожиданными сравнениями, незатертыми цитатами из Абая и Ауэзова. Но по причине тугоухости беседовать с ним было сложно. Каждое слово приходилось прокрикивать по несколько раз на пределе голосовых связок, пугая прохожих, детей и скворцов на елях. Даже собаки за железной оградой возле Института химии настороженно озирались и поджимали хвосты. У собеседника Есенамана уже через десять минут поднималось давление. Жил историк бедно, байбише свою похоронил, а с новой женой отношения складывались не лучшим образом. Современность не воспринимал, жил прошлым, когда и люди были добрее, крупнее, и водка слаще, и отношения высокими и благородными, не чета нынешним.

— Я человек XX века. Там и остался. XXI-й мне чужд. Он скверно начался и скверно кончится. Прогресс, конечно, будет, но люди вырождаются, деградируют. Уже сейчас видно. Все стали черствые, агрессивные, завистливые, жадные, все помешаны на деньгах, на наживе. К добру это не приведет, нет, нет, — утверждал он громким, ворчливым голосом. — Все вздор, все мишура. Суeta сует. Ежегодные послания Большого человека кому нужны? Планы, проекты — сплошной обман. Речи чиновников — сплошной треп. Книги кому нужны? Никто ничего не читает. Вот хотел задарма отдать школе двести томов казахских книг — не берут! Зачем? Все это мусор. У всех сейчас на уме только деньги. Каждый норовит схватить что-нибудь. Ой-бай-ау, все хорошее, что было, — в прошлом. Все сказал Абай. И Абая больше не будет. Семьсот членов Союза писателей Казахстана не стоят одного Мухтара Ауэзова. Поэты пишут вздор, дребедень. Особенно возмущают меня поэтесски. Сколько их расплодилось! Ей бы детей рожать, а она стишки кропает. Срам! Науки нет. Просвещение курам на смех. Кругом взятки, поборы, лихоимство. Ложь и фарисейство!

Щекастое, серое лицо Есенамана пошло пятнами. Мамбет Казиевич не возражал, слушал, изредка кивал головой, однако не соглашался в душе со столь категорическим суждением.



– Тогда что же делать, Есеке? – спрашивал старый мугаллим осторожно.

– А ничего! – еще более распалялся историк, и седые бровки его ошетинились. – Ни-че-го! Все бессмысленно, все бесполезно. Такой заман! Остались лишь шкурнические интересы. Бедняк хочет стать баем, бай – кудаем. Но бедняку ничего не светит. Его доля – банальное выживание.

– Оу, Есеке, да вы черное небо обрушили на наши головы. Для чего-то, паверное, люди живут?

– Напрасно все. Обман. Туман. Мишура. Все прошло, минуло. Еще Абай сказал: грядущее скрыто туманом от нас.

– Ай, Есеке, столько вы видели, столько знаете. И тюрьму познали, и ссылку. Вам бы все это предать бумаге. Потомки благодарили бы вас.

– О, Аллах, о чем вы говорите, Маке?! Кому это нужно? И так ныне все, кому не лень, воспоминания пишут. Врут напропалую – читать тошно. Все писатели, историки, философы, политологи. Хотите и меня к ним толкнуть? Спасибо! Увольте! Все вздор, глупости. Боже упаси! Было время – писал. Хватит! Довольно!

– Ойпырмай, Есеке-ау, так ведь нельзя – мутовкой печаль-тоску взбивать, как кумыс. Вы уж чересчур пессимист.

– Что-о?! – вскинулся Есенаман, и лицо его вздулось, побагровело. – А вы – оптимист?.. Ну, да, конечно, я влачу жалкое пенсионерское существование. Половина пенсии уходит на коммунальные услуги, еще половина – на лекарство. Базар горит. От детей проку нет, сами копейки считают. Так, понятно, я пессимист. А вы в элитном доме обитаете. Сын – крутой. Дом – полная чаша. В горах вилла. О том, что есть, что пить, голова не болит. Больница – пожалуйста. Курорт – пожалуйста. Куда надо – машина у подъезда. Вот вы и оптимист. А я неудачник, недотепа, нищесброд. Я – пессимист! И вы хотите, чтобы я тоже плясал? С какой такой стати? «Пес-си-мист»! Будешь тут пессимистом, когда бродишь на обочине бытия еле-еле душа в теле...

– Я не то хотел сказать. Есеке, – примирительно заметил Мамбет Казиевич, досадуя на себя. «И зачем надо было заводить этот разговор?»

– Ладно. Знаю, что вы хотите сказать. Уж коли вам выпала удача жить в элитном доме, то и помалкивайте. Оп-



тимист нашелся. От таких оптимистов и все беды на наши головы...

– Ну, Есеке, зачем так? Согласитесь: жизнь ведь не из одного черного цвета состоит. Не так ли? Вон возьмите Карпеке, Даке, Исеке, Гереке, Куатеке... они же не так рассуждают.

– А что им? Они ловко устроились, приспособились к этой жизни. Своего не упустили. Дети их – шустряки. Байбише при них. Внуки тоже судьбу оседлали. Везунчики! Оптимисты! А я, пессимист, с чего бы это ликовал, свой засаленный борик в небо закидывал?! А?..

Разговор не клеился. После беседы с Есенаманом Мамбет Казиевич еще больше расстраивался и избегал встречи с ним. И желчный историк это почувствовал и еще издаleка, бывало, задираeл его.

– А-а... сaлeм, оптимист-старик из элитного дома! Благодeнствyетe? Прoцвeтaeтe?

И завсeгдaтaи плoщaди Чoкaнa при этoм дeликaтнo улыбaлись, и эти смeшки зaдeвaли Мaмбeтa Кaзиeвичa зa живoe: дeйствитeльнo, из вceй этoй кoмпaнии в элитнoм дoмe oбитaл oн oдин.

Чтo и гoвoрить-тo? Кoнeчнo, лyди живyт oчeнь пo-рaзнoмy. Нoвaя жизнь чeткo oпpeдeлилa вoдoрaздeл мeждy рaзными слoями oбщeствa. Этo и слeпoмy виднo. У кaждoгo свoй yдeл. Нo eсли личнo y тeбя жизнь нe слoжилaсь, тo дpyгиe, нaвeрнoe, в тoм нe винoвaты. И вooбщe кoгo винить? И рaзвe спpaвeдливo нaбpaсывaтьcя нa вceх пoдpяд и oтpицaть вce?

Oтpaжeниe бeсeд с нeзaдaчливым истoрикoм Еceнaмaнoм Мaмбeт Кaзиeвич нaхoдил и в гaзeтax. Oдни писaли тoлькo o плoхoм, изoбpaжaли сплoшь yрoдствo. Нe зaмeчaли ни oднoгo лyчикa нaдeжды. Кaзaлoсь, вoт-вoт oбpyшится нeбo, рaзвeрзнeтся зeмля и пoгacнeт coлнцe. Мoжнo былo пoдyмaть, чтo эти гaзeты выпycкaлись для oдних ипixoндpикoв и aнaхoрeтoв. В дpyгих гaзeтax сплoшь вoстoрг, ликoвaниe, yспeх, плaнoв гpaмaдьe. Пoлyчaeтcя, чтo мы сaмыe-сaмыe, нe тoлькo в CНГ, нo и нa двyx кoнтинeнтax, и нe сeгoднa-зaвтpa вoрeмeся в числo пятидeсяти бoгaтeйших, пpoдвинyтых гoсyдapств, a Aстaнa, считaй, вoт-вoт oкaжeтcя cpeди тpидцaти кpaснeйших стoлиц мирa. Aх-ax, oх-ox, пaй-пaй, тaкиe тeмпы pазвития ни oднoй стрaнe eщe нe снилcя. Нy, рaзвe чтo Китaй мaячит нa гoризoнтe. И тo eщe кaк пoсмoтpeть. Пoтoмy чтo нaши пpиoритeты вceм пpиoритeтaм пpиoритeт. Читaeшь и дивy дaeшьcя:



господи, к чему нам еще стремиться, когда уже сегодня достаем макушкой до неба. Аульному мугаллиму Мамбету Казиевичу кажется, что для хвальбы-спеси особого резона нет. Достаточно вспомнить положение аулов, походить по базару, посмотреть на казахов, сбитых с толку, изнуренных поисками пропитания, на бездомных, неприкаянных, угонивших в одночасье в рыночную кутерьму. А если учесть тех, кто промышляет проституцией, воровством, рэккетом, разбоем, копеечной торговлей, прибавить сюда больных и сырых, искалеченных, потерявших кров, осужденных, лишенных мало-мальских надежд, пенсионеров, ждущих кормешки, одиноких матерей, вдов, прозябавших без кормильцев... ой-бой-бой... душа содрогнется. Выходит, ворчливый историк Есенаман не так уж и неправ. Раньше все это не так бросалось в глаза, ибо было равенство бедных, теперь же все обнажилось, воспалилось.

Есенаман изо дня в день варьировал одни и те же идеи, и его бесконечный «а-ляу-ляй» вскоре наскучил. Все существо Мамбета Казиевича воспротивилось его унылым проповедям. Интереснее было внимать рассуждениям Герреке, немца-литератора, с детства выросшего среди казахов аула. Он активно печатался в газетах, налево-направо давал интервью, и то, что он говорил и писал, как-то ложилось на душу. Он вещал простые истины, но они убеждали. При этом он их не навязывал, никого не хватал за глотку, а только их излагал: хочешь – соглашайся, не хочешь – дело твое, оставаясь при своем мнении.

– Ай, Маке, согласитесь, все зависит от властей. Да, да. Точнее, от ее компетенции. Случайный человек во власти – сушая беда. Недоумение. Дилетант в политике – нонсенс. Дров наломает – целому поколению пурхаться.

– Спору нет, – соглашались с ним собеседники. – Уж больно сложное дело – руководить народом.

– Да. Непростое. Всем не угодишь. Но есть одно основополагающее правило – не врать. И не считать, что народ – быдло, что если ты во власти, то ты уже умнее всех, что можешь ляпать что попало, что любая ложь – пройдет. На этом заблуждении свернули себе шею многие горе-владыки.

– На словах это просто, а на деле: где власть, там и ложь. Они сестры-двойняшки.

– Не врать власть просто не может. Тогда она не власть.

– Неужели можно построить общество без лжи? – возражали старики-собеседники.



– Кто его знает? – не спорил Гереке. – И все же стремиться к этому надо. Ведь за последние годы мы слишком привыкли к тотальной лжи. Вот в чем беда-то. Выросло целое поколение, убежденное, что ложь – это и есть правда.

– Дело в том, – вклинился в беседу Алексей Григорьевич, по прозвищу «Рыбак», – что у всякого Павла своя правда.

– Верно. Правда Мыркымбая для Ивана – кривда.

– И кто определит, где правда, где ложь?

– Кудай!

– Кудай – да. Но ведь по каждому поводу к нему не обращайся.

– Но существует же иман. И он должен быть у каждого в сердце.

– Иман, говоришь? Вон спросим у ребят, что такое иман.

Длинную скамейку под елью облепила стайка подростков. Один терзал расстроенную гитару и невпопад пел какую-то несладкую про утку «кря». Подростки подтягивали дурными голосами и поминутно дурашливо похихивали. Двое курили и обильно плевали под ноги. Двое тискали разлохмаченных, раскрасневшихся девчонок, усадив их себе на колени. Все подростки, как на подбор, были черноглазые, скуластенькие, сытые и ухоженные. Должно быть, сиганули с уроков и предавались кайфу под веселым солнцем. Басили и щебетали все по-русски.

– Эй, балалар-балапандар, – обратился к ним Мамбет Казиевич. – Чем занимаетесь?

– Сижу – куру, – хохотнул один остряк.

И все за ним расхохотались.

– Отдыхаем, балдеем.

И опять всей ватагой дружно гоготнули.

– Вы учитесь в казахской школе?

– Кто урусча, кто – казахча.

– Скажите: у вас иман есть?

– Что-что? Иман? Баксы, что ли? Ахчи?

– Иван – есть, иман – нет, – ответил хохмач. – Да и Иван – черный.

– Ха-ха-ха... – взгоготала-взорвалась веселая ватага.

– Эх, аташки... Не Иман, а Имангали.

– Какой Имангали? – не понял юмора Мамбет Казиевич.

– Мэр города, аташка. Мы его называем «Тас». Во парень, между прочим. На гитаре тренькает и поет клево.



– А-а-а... Нет, айналайн балалар. Я не про то. Я про иман в душе.

Батага озадаченно задумалась.

– Нет у нас имана, аташки, – опять первым отозвался хохмач, щекоча обнаженный пупок осоловелой девчонки.

– Был, да сплыл.

– Ха-ха-ха! – взревели все разом.

– Ну, ладно... Продолжайте ваш кайф... без имана.

– Чао, аташки! Не кашляйте!

Старики пошли восвояси чертить круг за кругом вокруг памятника Чокану.

– Откуда ж им, детям асфальта, знать про иман. Они и слова такого не слышали. Почитали бы Абая – знали бы.

– Для них и Абай – всего лишь бабай.

– Коли мы строим правовое государство, – продолжал Гереке, – надо прежде всего научиться не врать. Говорить всегда народу правду. Чего бы это ни стоило. Декларировать демократию, а править по-хански – вещи несовместимые.

Дома, наедине, Мамбет Казиевич проигрывал в уме все «скверные» беседы завсегдатаев сквер Чокана, соизмерял их высказывания по тому или иному поводу с броскими сентенциями и притчами из книги «48 законов власти» и предавался долгим раздумьям. Они восторгались своей обнаженной откровенностью, пронзительной мудростью и усугубляли его тоску и одиночество.

«Заставьте ваших начальников казаться более блистательными, чем они есть, – и вы достигнете вершин власти».

«Держите людей в потемках, в состоянии неустойчивого равновесия, никогда не раскрывая подоплеку своих действий. Пребывая в неведении относительно того, что вы хотите предпринять, они не смогут обеспечить себе защиту. Заведите их подальше по ложному следу, напустите тумана, и к тому времени, как они осознают ваши намерения, будет уже слишком поздно».

«Всегда говори меньше, чем кажется необходимым».

«Любой минутный успех, которого, как вам кажется, вы добились в споре, оборачивается пирровой победой. Куда эффективнее можно заставить других согласиться с вами, если действовать, не произнося ни слова. Показывайте, а не объясняйте».

«Старайся, чтобы люди зависели от тебя».

Автор-англичанин, умный циник, давал власть предрежающим советы, которые поразительно обнажали суть ее, власти, первоначальной природы...



Огромная квартира в элитном доме неожиданно обезлюдела. Бахыт все чаще пропадал в Астане и поговаривал, что – по всему – предстоит ему года два-три поработать в правительстве. Отцу он признался:

– Не нравится это мне. Чем ближе к власти, тем опаснее. Я ведь, сам знаешь, в казахских интрижках не силен. Но не могу не уважить просьбу Большого человека. Говорит: реформы плохо идут.

– Надеюсь, балам, найдешь способ смыться оттуда вовремя.

– Хотелось бы...

Лаура завершила учебу и устроилась в какой-то фирме юристом и переводчиком. Через год-другой намеревалась податься в Америку на поиски счастья. Домой она приходила редко, и Вильма доверительно сообщала, что ее кратковременный роман с Сержом-проходимцем сам по себе закончился, иссяк, истаял, и это, мол, была глупость, случайный эпизод, от которого, кроме досады, ничего не осталось. Наваждение какое-то. Кому и что она хотела доказать, пустившись на связь с законченным прощелыгой? Может, матери хотела открыть глаза такой ценой?..

Зухра Ганиевна вскоре взяла себя в руки и нашла себе другое увлечение: посещала какие-то экзотические кабинеты здоровья, вошла в клуб деловых женщин, не пропускала шоу-тусовок для избранных, затеяла глянцевого журнала для элитных дам, небезуспешно играла роль светской львицы, чем, кажется, очень гордилась. Часто звонил ей хриплый бас с явственным иностранным акцентом. Мамбет Казиевич с раздражением отвечал неизменно: «Нет ее!». на что бас, глотая «р», рокотал: «Пардон».

Арыстан грезил об одном: скорее бы закончить постылую школу и укатить в Швейцарию на платные и дорогие американские курсы в дивном горном ущелье, где учатся отпрыски важных особ. После двух лет учебы и речевой практики ему, дескать, откроется путь в американский университет и тогда он в гробу видел провинциальный Алматы с его сексуально озабоченными саулешками и гульками.

А пока похаживал к своей Дездемоне в крайнем подъезде, успешно освоил премудрости любви и по всему – такое времяпрепровождение ему было по душе. Парень откровенно сибаритствовал, ни в чьих советах-назиданиях не нуждался, раскатывал на новенькой «Тойоте», был в курсе всех городских сплетен, вращался в кругу таких же пресы-



шенных шалопаев, но учился, кажется, легко, играючи, все хватал на лету.

Мамбет Казиевич уверял знакомых: при мало-мальской усидчивости у малого есть все шансы взлететь высоко. Он явно из тех, кто своего не упустит.

Выяснилось, что и Вильма надумала уехать в Германию к брату. И Ольга, было видно, неинтересно стало копошиться в большой, опустевшей квартире. Рихард возил кого-то другого. А виллу в горах арендовало германское посольство.

И слонялся день-деньской по несуразно просторной квартире один Мамбет Казиевич, и одинокие шаги его отзывались гулким эхом, пугавшим его. Он был предоставлен самому себе, в сущности никому не нужный.

И это угнетало его больше всего. Он чувствовал себя сторожем покинутого стойбища. Очаг почти потух, и одинокий старик ворошит пепел былого и слезящимися глазами вглядывается в зыбкую даль.

У каждого из домочадцев была своя жизнь, свои заботы и забавы. И только у Мамбета Казиевича не оставалось ничего.

Он понимал: жизнь на исходе, а надо бы прожить ее остаток достойно. Нет ничего страшнее и позорнее гнусной старости.

Он все более тосковал по аулу, который упорно мерещился манящим зеленым причалом его долгой жизни.

Глава восемнадцатая

Письмо Карла Деграфа из немецкого городка вблизи Бонна было написано по-казахски, незатейливым разговорно-бытовым языком, как Бог на душу положил, с жуткими орфографическими и синтаксическими ляпами. Карл был мастак по тракторам всевозможных марок и борозды тянул по казахским просторам ровненько, как по линейке, а с пером и бумагой, сразу бросалось в глаза, был явно не в ладу. Строки ложились вкось и вкривь, нагромождались друг на дружку, буквы торчали там-сям, как пучки блеклых волос на голове, изъеденной паршой. А слова дробил-переносил, будто сухостой ломал через колено. «Ассалаума-галейкум» едва поместилось на трех строчках. И плотный лист германской бумаги был истерзан, измят, искорежен, весь в сальных пятнах, словно Карл прошелся по нему сна-



чала трактором, потом старательно отгладил катком. Адрес на конверте аккуратно вывел кто-то другой, явно ученическим почерком, и кириллица перемежалась с латиницей.

«Ассалаумагалейкум, бауырым, старший брат мой Маке! – торжественно начал свое письмо Карл Деграф. – Благополучны ли скот и душа? Надеюсь, в тепле и уюте, в полном здравии поживаете среди детей и внуков в благословенном Алматы. Адрес прислала мугаллимка айналайн Куляш из аула. Шлю свой салем из далекой Германии, с которой вы когда-то воевали. Шукур Кудаяу, мы здесь все аман-сау. Живем все близко. И я гошу то у Эдвина, то у дочерей. У всех своя квартира. Только работы нет. Все живут на социалке, я – на пенсии. Ничего, жить можно. Эдвин еще на русских свадьбах на аккордеоне играет. Наших немцев здесь много...»

Мамбет Казиевич представил Карла, рослого, костлявого, непоседливого, в уютной германской квартире, в чистой рубашке, в черном жилете с блестящими пуговицами, за столом, покрытом накрахмаленной праздничной скатертью, с вазочками, с цветами... благодущный, умиротворенный, гладко выбритый, надушенный, благополучный, самодовольный немецкий бюргер. Наверняка не похож на того аульного Карла с неистребимыми мазутными пятнами на раздавленных работой руках. Рядом дебелие, расфуфыренные дочки Эльма и Зельма, длинноносый вертлявый Эдвин с неразлучным аккордеоном, внуки, разодетые, как ангелочки. Едят бананы, пьют соки, беседуют, смеются. Такая вот немецкая идиллия. Мамбет Казиевич вздохнул.

«Все хорошо, – писал Карл дальше. – Германия – страна богатая, обихоженная. Но, честно, все не по мне. Трава здесь не пахнет, ветер без степного духа, и тесно, сыро, бесконечные дожди, а я тоскую по простору, по солнцу. И хлеб не такой, как у нас, и мясо без вкуса, колбаса – сплошь крахмал, бумага, соя и добавки. Никакой силы нет. Как силос. Не то, что казы или карта. Кружочек съел и целый день сыт. А здесь только и делают, что бананы жрут, как обезьяны.»

Бедный тракторист Карл! Всю жизнь пропадал в поле, в степи. Дышал всей грудью. Прожарился степным солнцем. Прокалился вольными ветрами. Привык к немуд-



ренной и здоровой казахской пище, которая бодрит, плоть силой наливает. Он, помнится, не был охотником до фруктов-овощей. Говорил в шутку: «Траву пусть казахи едят. А мне мясо давай». Там, в Германии, действительно, булочки, кофе, соки, бутерброды, йогурт, бананы. Чашечки, розеточки, тюбики, тарелочки, соусы-моусы, салфеточки, обезжиренная жвачка. Тьфу!

«Все чужое. Красиво, но не радует, – продолжал изливать свою душу Карл. – Поначалу все удивляло. Думал: рай. Потом приглянулся и затосковал. Для кого-то, может, и рай. Дети, внуки довольны. Привыкли, приспособились. А мне все не так. Не по-нашенски. Скучно. Здесь никто никому не нужен. В гости по-людски не сходишь. Каждый сам по себе. Такая вот свобода...

Что я делаю? Ни-че-го! Дурака валяю. Хожу, брожу, как неприкаянный, сплю, пиво пью. На рыбалку – нельзя. В лес – нельзя. Такой порядок. Плунуть – и то негде. Местные нас за немцев не считают. Русскими пазывают. А меня и вовсе в казахи записали. Дети смеются: папа, мол, привык жить в ссылке. Зачем, дескать, ему Европа».

Мамбет Казиевич расчувствовался, снял очки, протер глаза. Если немец Карл по аулу тоскует, то каково ему казаху-степняку?.. Выходит, Карлу Германия чужда, а он, мугаллим Мамбет, в алматинском элитном доме не находит себе места. Карлу тесно в Германии, а мне – в просторной, как аэродром, пустующей квартире. Ай, Кудай-ай, старческие капризы и причуды. Все продолжаем жить воспоминаниями о старом ауле, а нынче ведь все не то, не то, не то. Никак не можем смириться с тем, что и тот аул, и то время ушли-прошли невозвратно.

«А я действительно тоскую. Снятся мне аул, озеро, одинокая туранга, поле, лесочки, простор, запах полыни, могила Марии, дом. Потом хожу сам не свой. Эдвин говорит: ностальгия, пройдет. Не знаю. Дети живут как бы без корней. Летом решил посетить аул. Поживу, осмотрюсь. Сколько жить-то осталось? Хоть душу успокою. Может, и вы, Маке, завернете в аул? Славно было бы! Надумаете – дайте знать.

Детям, внукам вашим от всех нас салем. Будьте здоровы!

Ваш аулчанин Карл»



Письмо Карла Деграфа Мамбет Казиевич прочел с волнением, со слезами на глазах десятки раз. Прочитал его и навсегда аллеи Чокана. И всех оно тронуло.

– Ай, бишара! Сердце до донышка раскрыл. Как на духу.

– Мы-то, находясь здесь, все не так обостренно воспринимаем. А на чужбине, конечно, душу саднит.

– Понятно: родное тянет, манит.

– Напишите вашему Карлу, Маке. И сами проведайте аул. Поразвеетесь. Хватит вам в элитном доме прозябать, как в тюрьме.

Мамбет Казиевич вздрогнул от этих советов, пришел в смятение. Он сам не однажды подумывал об этом. И давно тяготился своим одиночеством в постылой квартире. Мысль о том, что он обречен доживать свой век в элитном доме, постоянно ощущая свою ненужность, неизменно грызла, подтачивала его душу.

Однажды, когда Бахыт на один день завернул из Астаны домой, Мамбет Казиевич после долгих колебаний зашел к сыну в кабинет. Тот, по обыкновению углубившись в бумаги, висел на телефоне, вел нескончаемые переговоры. На отца сын посмотрел отчужденно, поверх очков, будто не узнал его. Отец заметил, что сын поблек, осунулся, а курчавые некогда волосы поредели, лоб все более обнажился.

– Что, коке, есть дело? – спросил рассеянно, на миг отстранив от себя трубку телефона.

– Да, балам, надо бы поговорить.

Бахыт, не скрывая досады, наморщил лоб, бросил кому-то: «Извини... потом, потом.... Сам звякну».

– Слушаю, коке.

– Видишь ли, балам, какое дело. Вижу: тебе все недосуг. А тут и я еще не вовремя...

Затренькал телефон.

– Потом, потом, – ответил Бахыт. – Извините... – И кивнул отцу. – Давайте, коке, без лирических предисловий. Сразу быка за рога!

– Видишь ли, – сконфузился Мамбет Казиевич. – Как-то все шиворот-навыворот пошло в твоём... е-е... нашем доме. Тебя мы совсем редко видим. Лаура ушла. Зухре-келин я давно в тягость...

– Н-но-о...

– Нет, нет, не возражай. Я-то знаю, чувствую. Глаза видят, уши слышат, да и умом еще не тронулся. Арыстан сам по себе. За границу вот собрался. Теперь и Вильма, и Ольга



уходят. И что получается? Получается, в огромной квартире я маюсь один.

– И тебе плохо? – побледнел Бахыт, с досадой приподняв и опустив тут же трубку на рычажок. – Одет, обут, сыт...

– Все это так, родной. Спасибо! Но для пожилого человека и это, оказывается, мало. Пойми: я всю жизнь был кому-то нужен. А теперь как пятое колесо в телеге. Пространство мое сузилось: комната, балкон да кухня.

– Этого недостаточно, коке?

– Недостаточно. Старому человеку дорого внимание, участие, ласка. Чувствовать себя обузой изо дня в день – тяжело.

Бахыт склонил тяжелую, лысеющую голову, пошуршал бумагами, вздохнул. Щуплый, тонкошений, узкоплечий, усталый. Подросток с большой, мудрой головой. Мамбет Казиевич, глядя на сына, на миг почувствовал пронзительную жалость. Подумалось: и зачем я только затеваю этот разговор? Ведь то, что я сейчас сказал, знакомо и сыну: и ему, в его-то годы, не хватает того же внимания, душевного участия, обыкновенной ласки. Не задалась семейная жизнь, не задалась. Нет у жигита надежной опоры, уютного очага. Как говорили предки: дурная баба, тупой кинжал и ленивая лошадь жигита утомляют раньше срока. И он, старый отец, ничем помочь сыну не в силах. И каково ему там, в столице? Один ли живет? Или нашел себе кого? Ай, вряд ли? Пурхается, небось, днем и ночью под неподсильным бременем государственных дел, в тенетах инвестиций и инноваций, экономических и политических реформ, которые идут туго, со скрипом, а то и вовсе буксуют? Много ли сладости в карьере, если человек лишен простого счастья и уюта? А тут еще он, древний пенсионер, со своими горестями. И то верно: иной старик довольствовался бы тем, что есть. Вот историк-бедолага Есенаман только мечтает о такой участи.

– Думаешь, коке, я не понимаю? – глухо, с трудом произнес Бахыт, подняв голову. В серых глазах его плескалась печаль – Думаете, душа моя не болит? Сам видишь, чего скрывать, жизнь с Зухрой не сложилась. И кого винить? Видно, я не смог дать ей, что надо. По всему, ничего уже не склеишь. Арыстан вот кончит школу, уедет учиться, у парня есть задатки, хоть и с ленцой. Буду ему помогать. Остальные обойдутся без меня. О себе пока не думаю. А о тебе голова болит. Знаю, вижу, чувствую – ты выбит из колен. И душа не на месте. А что делать – не представляю.



– Вот об этом, балам, я и хотел поговорить. Знаешь, что я надумал?

Мамбет Казиевич сделал паузу, собрался с духом, с усилением выпалил:

– Пристрой меня в Дом престарелых...

– Что-о?! – аж подпрыгнул Бахыт. Лоб его покрылся испариной. – Что ты говоришь? В своем ли уме?!

Бахыт побледнел, глаза выпучились, и у Мамбета Казиевича внутри что-то оборвалось, холодок пронзил поясницу.

– А что? – сказал поникшим голосом. – Там неплохо. Был, узнавал. Опять-таки и люди кругом, условия...

– Выкинь, коке, эту глупость из головы! Как ты мог до такого додуматься?!.. Вздор! Чушь! При живом-то сыне, будучи казахом, в Дом престарелых?! Бог ты мой!

– Просто не хочу быть обузой. Вижу ведь: всем не до меня. Я как дог Майкл. Помнишь?

– Брось, коке! Ты не говорил, а я не слышал. Какая обуза? Кому ты помеха? Живи – не тужи.

Слезы обиды блеснули в глазах сына, и у Мамбета Казиевича замерло сердце.

– Ну, да... согласен, – продолжал Бахыт. – Внимания тебе мало уделяем. Но... образуется все. Вот получу квартиру в Астане, возьму тебя к себе... если жизнь здесь тебе в тягость. О Доме престарелых забудь! Всеми нашему роду-племени позор. Скажут: сын-бизнесмен, государственный муж отца родного содержать не в состоянии, в Дом престарелых сплавил. Ты о том подумал, коке?

– Хотел, как лучше, балам, – пробормотал обессилено Мамбет Казиевич.

Наступила долгая пауза. Огромные настенные часы над дверью четко отбивали секунды. Бахыт молча склонился к бумагам, ничего, однако, не видя. Телефон на столе заливался-тренькал на все лады. И мобильник ежеминутно выпевал вкрадчивую мелодию.

– Успокойся, коке. Не рви свою душу. И меня не терзай. Для отчаяния повода не вижу.

– Может... может, мне в аул вернуться?

Бледная тень сошла с запавших щек Бахыта. Живой огонек блеснул в погасших было глазах.

– Другой разговор, коке. Только не вернуться, а провести земляков... погостить... проветриться. Даже немного пожить. А вернуться надо домой... ко мне... к себе.



Бахыт порывисто встал, подошел к отцу, неуклюже обнял его.

– Не обижайся, коке. Поверь: и мне трудно. После злодейского убийства Сарсена никак не могу успокоиться. Потерпи. А в аул, если надумаешь, поезжай. Скажи только: все организуя.

Мамбет Казиевич прослезился и, скрывая слабость, поспешно зашаркал к себе. Ему было жаль и сына, и себя.

...Прошло два-три месяца. С мыслью о жизни в Доме престарелых Мамбет Казиевич решительно расстался. Действительно, дурь, блажь. Должно быть, тронулся умом. Едва ли не опозорил сына. А дума об ауле его постоянно грела, манила, радовала. И Карлу Деграфу он написал пространное письмо, намекнув, что нынешним летом они, пожалуй, могут встретиться, пожить у Куляш или в доме Карла, походить по гостям, поздравить новорожденных, выразить соболезнование семье умерших, погулять вокруг озера с одинокой турангой, повспоминать былое, прошлое, прочитать поминальную молитву на могилах Зуры и Марии. А там видно будет. Дети ведь на произвол судьбы их, стариков, не оставят.

Жильцов элитного дома удивил-потряс Арыстан. Кто бы мог о таком подумать?

Ранняя весна неожиданно обрушилась на Алматы. За несколько дней в городе растаял грязный снег, прилавки гор обнажились, потемнели. Солнце повеселело, синь раздвинулась. Вороны базарили во все горло. Скворцы затенькали еще до рассвета. В квартирах стало душно. Ранним утром по пустынным улицам гудели поливальные машины. Пожилой люд еще не успел стянуть с себя тяжелые дубленки, а молодежь уже бравировала в пиджачках и легких куртешках. Девчонки по моде обнажили синюшные пупки. Обтянули попки. Воздух загустел, кружил голову. Ноздри щекотал сладковатый запах набухших почек и пробивающейся зелени. Вечерами с гор медленно напознала сутемень.

В один из таких вечеров в комнату Мамбета Казиевича тихо пробрался Арыстан. Был он растерян и явно смущен. Несвойственная ему озабоченность застыла на его пухлом юношеском лице.

– Ата, – сказал он вдруг. – Ата... Есть дело...

– Е-е, не болып қалды?! – вырвалось у Мамбета Казиевича от изумления. Он уже привык к тому, что внук-бала-



бол называл его Песталоцци, Ушинским, Ибраем Алтынсариным, великим педагогом, устазом-наставником, и вдруг – «Ата». Что такое произошло с парнем?

– Поговорить надо... – мямлил Арыстан. – Случилось, да... Это верно, ата, что доживший до правнука, непременно попадет сразу в рай?

– Ну, есть такое поверье.

– Тогда... тогда вам, ата, место в раю обеспечено.

– Что-о?!.. Как это? Лаура родила?

– О Лауре не скажу, а вот я, представьте, родил.

У Мамбета Казиевича едва не отвалилась челюсть.

– Что за шутки! Что мелешь?

– Ну, понятно, не я родил, а Дездемона. По моей, так сказать, инициативе.

Мамбет Казиевич на миг лишился дара речи. Внук по привычке молол языком, ерничал, однако, глаза выдавали растерянность и напряжение.

– Серьезно, что ли? Камиллочка? От тебя? И ты – папа?! О, Кудай, у тебя же губы еще не обсохли!

Дед не верил своим ушам. Внук сглотнул, поиграл желваками.

– Прошу без оскорблений. Мне, к вашему сведению, семнадцать лет. И я, по-вашему, не в состоянии ... это... ну... заделать ребеночка?! Плохо, однако, обо мне думаете!

– Кудай-ай! Как же это получилось, Арыстанчик мой?

– Можно подумать, ата, что вы не знаете, как это получается!

– Ну, даешь! Лихо! А Камилла что думала? Она ведь старше тебя.

– Дело в том, что она совсем не думала. А когда спохватилась, было поздно.

– С ума сойти! Кого же... сообразили?

– Сына! – горделиво выпалил Арыстан. – На меня похож. Как две капли воды.

Мамбет Казиевич обомлел. Он даже не знал, радоваться или огорчаться. Как всегда, при волнении озноб подкатил к пояснице, слабость ударила в колени. Вот, значит, где пропадал внук глухими вечерами. Пока родители-музыканты гастролировали за рубежом, дочь их ненаглядная время зря не теряла, охмурила шалопая. Вот куда завела его ранняя самостоятельность. Другие в его возрасте футбол гоняют во дворе, а он по девкам шастает. Тоже мне отец! Черт знает что!



Мамбет Казиевич лихорадочно соображал, как же быть, что же внуку посоветовать.

– Между прочим, Абай стал отцом в шестнадцать лет, – напомнил Арыстан. – Так что прецедент есть.

– Нашел чем и на кого равняться! – буркнул Мамбет Казиевич.

Ну, учудил! Выкинул номер внук! Как же о том сообщить Бахыту и Зухре, что скажут соседи и в какое русло направить это из ряда вон выходящее событие?

– Вот потому-то я к вам и пришел. Надеюсь, найдете способ деликатно доложить о том предкам. Без всяких ахов, охов, вздохов и нотаций.

– Легко сказать! Маму наверняка удар хватит. И отец вряд ли придет в восторг.

– Вот и проявите свою аксакальскую мудрость и педагогический дар. Как-никак путевку в рай я вам обеспечил.

– Еще и шутишь!..

Бахыт был в Астане, и Мамбет Казиевич поздно вечером решился-таки поделиться семейным секретом с Зухрой-келин.

– Келинжан, – заискивающе начал старик. – Я должен... вынужден... потревожить твой покой и сообщить нечто такое, что может тебя огорчить, а, возможно, и обрадовать.

– Что такое? – насторожилась Зухра.

– Наш Арыстанчик незаметно повзрослел и... и...

– Господи, что случилось?! – вскинулась Зухра Ганиевна, и краешек нижней губы ее мелко-мелко задрожал. – Неприятность?

Старик заметил: красотка-келин в последнее время поблекла. Мелкие паутинки обозначились возле глаз и на верхней губе. Взгляд стал настороженной, колючей. Да и новый окрас волос и причудливая стрижка совсем не молодили ее и не к лучшему изменили ее привычный облик. «Апырай, неужели из-за Сержа-трепача переживает?»

– Не знаю, как и сказать... Арыстанчик... Арыстанчик... такую шутку сморозил.

– Да говорите же... что натворил?

– Е-е... келинжан, натворил... сотворил... Это... ну, неожиданно-негаданно... словом, отцом стал... а тебя бабушкой сделал.

– Что-о-о?!.. Ка-ак?!..

Зухру бросило в жар. Холеное лицо пошло пятнами. Она обессилено упала на кровать. Полы цветочного ат-



ласного халата на миг распахнулись, обнажив белые тугие ноги. Мамбет Казиевич смущенно отвел глаза.

– Солай, келинжан. Камилла родила от него сына.

Зухра точно окаменела. Щеки побагровели. Подбородок дрожал. Мамбет Казиевич растерялся, бормотал невпопад:

– Солай болды, келинжан-ау... Так, видно, рассудил Создатель.

– Создатель? Какой Создатель? Ах, Создатель! Но он-то при чем?! – машинально отозвалась Зухра. – Господи, убить меня, что ли, хотят? Что за беды на мою голову?!

Зухра долго бушевала. Вскакивала. Ходила из угла в угол. Пила минералку. Глотала валерианку. Вновь опускалась на кровать. Заламывала руки. Нервно запахивала халат на груди. Произносила что-то нечленораздельное. Возмущалась. Не могла успокоиться.

– А может, ребенок совсем не его? Мало ли что! Эта тихоня Камилла – птичка еще та. Соблазнила мальчика. Ума не хватило предохраняться? Их ведь еще в школе учат. А дальше что? Отец! Только-только школу заканчивает.

– Келинжан, возьми себя в руки. Дело молодое. Все образуется. Ребенок-то не виноват. Обмозгуйте все с Бахытом. Нельзя травмировать Арыстанчика. Он и так нос повесил.

– Сопляк! Обалдуй! Насмотрелся, начитался всякой дряни. Любовник задрипанный! Куда эта скрипачка Анжела смотрела? За дочкой не уследила. Гастролерша! Голову потеряла с молодым мужем. Где Арыстан? Я с него три шкуры спущу. Мигом забудет про всяких девок!

Зухра дождалась-таки сына, заперлась с ним в спальне и, видно, долго снимала с него стружку. Арыстан вышел от нее поникший, взмыленный, тише воды, ниже травы.

Наутро, еле переждав ночь, Зухра приделась и помчалась в роддом посмотреть на новорожденного.

Вернулась взволнованная, возбужденная. И потрясенно оповещала подруг по телефону:

– Ну надо же! Надо же! Ребенок – копия Арыстана. Точно изо рта его выпал. Такой же лопухий, скуластенький, черноглазый. Крепыш! Подумать только! А Камилла – дуреха. С косметичкой не расстается, в зеркальце поминутно себя разглядывает, марафет наводит. «Молоко есть?» – спрашиваю. А она глазищами луп-луп. «Какое молоко?» – говорит. Мамаша!..

Но голос Зухры Ганиевны явно потеплел. Душа, видно, оттаяла, смягчилась. Первоначальный шок прошел, усту-



пив место чему-то неосознанному, нежному и великодушному, чему еще не было определения.

О том, что он произвел наследника, Арыстан потом сообщил – по настоянию матери – отцу в Астану по телефону. Бахыт опешил, не сразу врубился в новость.

– Тебе сколько лет? – спросил строго.

– Семнадцать... будет.

– В каком классе?

– Ну... в десятом.

– И знаешь, как это по-казахски называется?

– Как? – насторожился Арыстан.

– По-казахски это называется: еще юрту не поставил, а сучок свой уже вздрючил. Это о тебе!

– Но... – тут же возразил Арыстан. – Те же казахи говорят: в тринадцать лет – хозяин юрты.

– Ладно, хозяин. Приеду – толком все объяснишь.

– Чего объяснять? Что случилось – то случилось, – пробурчал напоследок Арыстан. – Результат налицо.

Вся жизнь в доме вдруг переключилась на новорожденного. Зухра не только смирилась со случившимся, но все свое внимание, всю нежность обратила на внука, пеленала его, кормила из бутылочки, купала, тетешкала, возила на консультацию, решив, что Камилла ничего не умеет и в ней, дескать, еще не проснулся материнский инстинкт.

– Ну как назовем твоего наследника? – спросила у сына.

– Тигр! То есть, Жолбарыс.

– И получится ты – Лев, сын – Тигр. Тигр Львович, что ли? Зверинец! Людей испугаешь.

– А как?

– Ну, скажем, Нурсултан, Олжас...

– Боже упаси! Их и так, как нерезанных собак!..

Несколько дней придумывали имя новорожденному. Перебрали не одну сотню имен славных батыров, ханов, беков, биев, акынов. Раз отец Арыстан, то и сын должен обладать звучным и благородным именем.

– Аблай!

– Ханболат!

– Каскыр!

– Жихангир!

– Зангир!

Решение вынес Арыстан.

– Сыновей у меня будет много. Оллахи-беллахи! – заявил он. – Ну не столько, как у хана Аблая, но полдюжины



наверняка. Пусть этот будет Ерик. Второй – Серик. Третий – Берик. Потом – Шерик.

– Потом – Херик, – съязвил Бахыт.

– Дальше видно будет, – не поддержал шутку отца Арыстан.

Через неделю торжественно зарегистрировали новорожденного – Ерик Арыстанович Адилов.

– Эрик Арыстан – звучит! – согласились все.

– Эрик – вольный, свободный.

– Сына воспитывать буду, но жениться на Камилле – нет, – тут же заявил Арыстан. – Сразу предупреждаю. Связывать свою судьбу с Камиллой не намерен.

– Вот шалопай! – ахнули вокруг. – Это как же так?!

– Вот так! – отрубил Арыстан. – В выполнении государственного демографического плана посильно участвовать буду, а жениться – ни-ни.

– Так ты весь город арыстанчиками наводнишь, – уколол сына Бахыт.

– Дает мой внук! – заметил Мамбет Казиевич. – Обалдел от счастья. Сам не знает, что говорит.

Внук, однако, был серьезен, и Камилла, присутствовавшая при этом разговоре, ничуть не удивилась и не опечалилась. Видно, разговор на эту тему у них уже происходил. И Камилла, кажется, уяснила для себя за эти дни, что хорохорившийся на публике пацан вряд ли ей сгодится в мужья. С него достаточно и того, что он признал отцовство, а благородные родители его не отрекаются от мальчика.

Жизнь в доме Адиловых покатила по другой колее. И места себе в ней Мамбет Казиевич не находил.

Глава девятнадцатая

Обрушился на степь знойный месяц шильде. Неистовое солнце выбелило небо. Травы пожухли. Пахло перекаленной пылью. Ковыль от жажды поседел, сник. Аул точно скукожился, опустел. Скот жался к тени. Под иссушающим ровным суховеем чуть шелестели камыш и осока возле озера. Поскуучнела и старая туранга.

Облегчение приносило только короткая ночь. Но от духоты тяжело вздыхали коровы, фыркали лошади, перхали овцы. При встрече люди говорили лишь об одном: «Апырай, когда только кончится шильде?!» Хотя все знали, что шильде тянется ровно сорок дней, и жара, как правило, сломается в первой декаде августа.



Аул затих в ожидании вожденной прохлады. Перед закатом багряно полыхало солнце. А над березовыми колками с другого края неба уже всплывала нетерпеливая луна.

Старики-тамыры встретились в предзакатный час у озера на знакомой, полузаглохшей тропинке. Один гостил в бывшем своем доме, у бобылки Маруар, уже третий день. Другого только сегодня доставил из райцентра юркий племянник, служащий в акимате.

– Оу, Маке, вы ли это? Да вас не узнать! – воскликнул Карл, с веселым любопытством разглядывая приземистого старичка с белой ухоженной бородкой, в бархатистой фреске, в темной жилетке поверх белой рубахи, в роговых очках, с витиеватой, арабской вязью изрисованной тростью в руке. – Ассалаумагалейкум!

– Уагалайкумсалам! – отвечивал, улыбаясь двумя рядами золотых зубов, ухоженный, чистенький и благообразный Мамбет Казиевич. – И ты, Кареке, что-то не очень похож на аульного тракториста.

– Е-е, обо мне что говорить? Турист как турист. А вы, похоже, только что совершили хадж в Мекку.

Тамыры обнялись чинно, грудь в грудь по степному обычаю, охлопали друг друга по спине, по плечам, радуясь встрече.

Долговязый, жилистый, по-прежнему прямой Карл Деграф, ныне гражданин Германии, с аккуратно подстриженными, колючими усиками, тщательно выбритым крепким подбородком, длинным носом на сухом лице, в шляпе, полосатых брюках, в легком дорожном пыльнике, брошенном через руку, действительно, больше смахивал на иностранного туриста, нежели на давнего аульчанина в засаленной телогрейке.

– Три года, выходит, не виделись... – Мамбет Казиевич снял очки, начал протирать толстые стекла платком. – Три года...

– Почти три года, – уточнил Карл.

– Ия, ия... Целая вечность. Будто с другой планеты свалился.

– И я себя так чувствую. И, представьте, безмерно рад. И аул на месте, и мы с вами здоровы, и жизнь продолжается.

– Ия, ия... Шукур. Тауба.

– Не каждому выпадает такой жребий.

Удовольствие, утихомирённые старики до глубокой ночи не могли наговориться, вспомнили живых и мёртвых, детей и внуков, обменялись впечатлениями о жизни в Германии и Алматы, о новых нравах и порядках, посетовали на скоротечность жизни и перемены, к которым душа почему-то не лежит.

– Мне чудится всюду разлад, нескладница, нелепица, отчуждение, – признался Мамбет Казиевич. – Все будто сбилось с панталыку. Людишки суетятся, шарахаются, словно живут временно, сегодняшним днем...

– Будто на вокзале в ожидании поезда...

– Ждут, нервничают, волнуются, а поезд уже ушел...

– Ушел, ушел, и только издали доносится перестук колес.

– А, может, это как раз наш поезд ушел?

– Ну, и хорошо! Будем просто жить.

– Ничего... Вернется – заберет. Куда нам спешить?

– Ха-ха-ха! И то верно!

Уже полночь пили чай на веранде из помятого медного самовара Маруар. Похваливали:

– Ах, чай Маруар – что вода зям-зям.

– Ширкин, самоварный чай – всем чаям чай!

– Уах, уах! Когда пьешь чай – на душе твоей жай! Услада!

Обмахивались полотенцами, втирали испарину, ловили ночную прохладу, струящуюся в открытые настежь окна.

Маруар усердно потчевала стариков-тамыров темно-коричневым чаем со сливками, подливала кипятка в пузатый заварник.

– Ну, и на сколько приехал? – любопытствовал Мамбет Казиевич у распаренного тамыра.

– Е-е, кұдай біледі. Бог знает, – отшучивался Карл. – Пока Маруар не выгонит.

Пухлое, как баурсак, лицо Маруар запунцовело.

– Ой, Кареке! Дом-то ваш.

– Был мой, теперь – твой. А я лишь гость. – Карл вытянул длинные костлявые ноги, откинулся на спинку стула, шелкнул подтяжками. Потом как-то странно вытянул губы и издал произвольный звук, похожий на выдох – «пффф». Видно, там, в Германии, усвоил этот жест.

– И все же... – настаивал Мамбет Казиевич.

– Ну-у... – Карл опять неожиданно сделал губами неопределенный «пффф»... – Ну, виза у меня на три месяца. Понравится – продлю. У меня ведь есть кое-какие планы.



– Да-а-а?!

– А как же!

Выяснилось, что у бывшего аулчанина есть серьезные намерения, задумки, созревшие еще ночами в Линце. Оказывается, в ауле у озера с одинокой турангой Карл Деграф приехал не лясы точить. Ну, конечно, некоторое время походит по окрестностям, по аулу, проводит знакомых, выразит соболезнование родственником усопших, посидит у могилки Марии, подладит оградку, надышится степного воздуха, завернет в лесочек, прожарится на знойном ветру, всласть наестся бесбармаку, покалякает вдоволь по-казахски, насладится кумысом, если он не перевелся совсем в ауле, искупается в озере, поохотится в камышах. Да, да... все это само собой. А потом... а потом разберет по кирпичику старую баньку, сложит новую, просторную, с раздевалкой, с парилкой, с разными полками-скамейками, с котлом, с баками, каменным полом для всех аулчан, для взрослых и малых, для мужчин и женщин, как же, баня – первое дело, главная радость, основа здоровья. Для осуществления давнего своего замысла он накопил и насобирал у бывших аулчан, ныне обустроившихся в Германии, три тыщонки ойро, вот их он и пустит на благое дело.

А если будут время и силы, то, может, ближе к осени заменит засохшие деревца возле школы, поставит забор, чтобы спасти саженьцы от прожорливых аульных коз. Должен же он что-то сделать для аула...

– Барекельды! – воскликнул, слушая тамыра, Мамбет Казиевич. – Молодец, тамыр!

И Мамбет Казиевич с горечью сознался, что он о подобном как-то и не подумал, что об ауле он вспоминал всегда, тосковал по нему, снились ему знакомые, давние картины аульной жизни, сознавал его плачевное состояние, понимал, что в трудный для государства час власть предала и продала аул, обескровила, бросила на произвол судьбы, полагая, что он выдюжит, как бывало раньше, выкарабкается, выправится сам собой, возродится, как весенняя трава. Но не тут-то было, аул хирел и чах из года в год на глазах и было особенно обидно, что умирал он в годы вожделенной независимости страны. Аулом сознательно пожертвовали бог весть во имя чего. Правда, для отвода глаз были объявлены грандиозные планы возрождения аула, все на бумаге рассчитано и предусмотрено, многие миллионы или миллиарды выделены государством на его реанимацию, но все эти средства в очередной раз прилипли к рукам юрка-



чей и пройдох, мошенников и жуликов, расплодившихся, как саранча, и были растащены еще на дальних подступах к заброшенному, измытаренному аулу. И, может, действительно, осталось лишь уповать на посильную помощь его приверженцев-доброхотов, бескорыстных дон кихотов? И, видно, немыс-тамыр, Карл Дегграф, это понял первым и старается отодвинуть агонию аула.

– Маладес, Карл! – еще раз сказал Мамбет Казиевич, одобрительно хлопнув тамыра по плечу. – И я, иншалла, что-нибудь придумаю. Неужели сын в Астане, и племянник в районном акимате мне не подсобят? Ну, хотя бы школу отремонтирую и свет заново проведу, а?

– Вот и нашли мы дело! – воскликнул Карл. – В конце концов не гостевать же приехали. Должна же быть и от стариков какая-то польза. Глядишь – и нашему почину кто-то последует. Все азаматы ведь из аулов вышли.

– Небось, еще остались чудаки. Или сумасброды, как мы.

– Да-а... чудаки, может, и найдутся, но не они нынче хозяева жизни. Чудаков ныне сменили волки, шакалы и гиены. А от них добра не жди.

– Слушай, Кареке, о Казахстане в Германии что-нибудь говорят или пишут?

Карл вытянул губы трубочкой и опять сделал «пффф...»

– Редко, но показывают и пишут. И больше всего отрицательно. О коррупции, воровстве, беспорядке. Об отсутствии демократии и прав человека. По-моему, они там путают Казахстан с Афганистаном. Дети хохочут, а мне стыдно.

– Так бывает: кто не хочет видеть, тот и верблюда не увидит. А если собрать все плохое в кучу, немудрено и свихнуться.

На следующий день старики-тамыры обошли аул. Многие дома пустовали: хозяева перебрались в «Верхнюю турангу» или в райцентр. Кто-то подался даже в область. Умерла старуха Фарида, и в ее полуразваленном доме обосновались многодетная семья оралманов из Китая. Скончался и сапожник Мухан. Единственный урус в ауле – Егор Тимошин – уехал-таки в Россию. Из немцев вообще никто не остался. Немецкий барак давно развалился. Без жильцов дома, оказывается, быстро разрушаются. Верный Рекс год тосковал, все искал и ждал своего хозяина, как-то сразу одряхлел, целыми днями лежал возле могилы Марии, вид-



но, посчитав, что здесь упокоился и Карл. И однажды исчез со двора, покинул незаметно аул, и никто ничего о нем так и не узнал. Поле вокруг аула пустовало. Рассказывали, что землю бывшего колхоза, потом совхозного отделения купил какой-то хмырь из областного акимата, а у него, мол, надежная «крыша» в самом мажилисе. И пастбища кто-то прибрал к загребушим рукам. Аулчане пасли свой скот на вытоптанных лугах возле озера, которое тоже заметно обомлело, все больше заболачиваясь по берегам. А в одинокую турангу ударила молния, и одна половина дерева почернела, обуглилась, только в ветвях с южной стороны еще теплилась жизнь. Многие тропы вокруг аула заросли травой.

Старики-тамыры посетили кладбище на холме, благоговейно произносили молитвы, огладили на мусульманский лад сложенными ладонями лица.

– Кудай один, – сказал Мамбет Казиевич.

– И он одинаково внимает и казахским, и немецким молитвам, – согласился Карл.

Потом молча направились к озеру. Прибрежный камыш приветливо закивал им коричневыми метелками. Солнце клонилось к закату, просвечивая багряными лучами камышовые заросли. В заводи под пышно разросшимся тальником резвилась стайка чебачков.

– Маке, как по-вашему, что на свете самое страшное?

– Я же не би-мудрец, чтобы ответить на такие вопросы. Но, думаю, самое страшное, когда ты никому не нужен.

– Ия, ия... пожалуй. А еще?

– Одиночество. Когда становишься одиноким путником у погасшего костра. Когда выпадаешь из времени.

– Из какого времени?

– Из своего. У каждого ведь свое время.

– Ну, так это и есть одиночество.

– Да.

Карл вспомнил грустную песню, которую часто пели под гитару Лизонька и Катенька. Две строчки из той песни особенно запали в душу.

*Как же боль-тоску превозмочь?
Как пройти-прожить еще ночь?*

Да-а... Одиночество преследует многих российских немцев в Германии. Днем многие крепятся, хорохорятся, суеются, корчат из себя продвинутых, успешных, удачли-

вых европейцев, живущих без особых забот и тревог, а на самом деле маются одиночеством, от которого нигде, нигде нет спасения. Ибо в сущности никто никому не нужен, все друг к другу равнодушны и каждый умирает в свой час в одиночку. Jeder stirbt für sich allein.

– Выходит, мы вернулись в аул, спасаясь от одиночества?

– Да, – ответил Мамбет Казиевич. – Мы ищем выход из состояния своей ненужности.

– И выход есть?

– Есть. Даже два. Один в деянии, другой – в смирении и покорности. Сапожник Мухан выход уже нашел.

Помолчали. Каждый думал о своем. Тишина царила на озере. Камыш кивал метелками, ронял пух. Неподалеку устало квакали лягушки. С верховья надвигались легкие тени.

– Знаешь, Кареке, хороший пес, сказывают, предчувствуя неизбежное, удаляется в укромное место, подальше от людей и тихо околевает. Он не желает, чтобы люди видели его труп. Такой деликатный и благородный. Да-а... Мы с тобой, думаю, приличные псы, старые тобеты. И аул – наша последняя обитель.

– Скажешь тоже, Макс...

Смеркалось. Угасли последние багряные лучи у горизонта. Повеяло прохладой и нежитью. С верховья донеслось монотонное уханье удода.

Старики-тамыры молча брели по полузаглохшей, едва посеребренной луной тропинке, которая все сужалась, сужалась и, казалось, вот-вот оборвется.

– Куда ведет эта тропинка? – спросил Карл.

Мамбет Казиевич еле слышно откликнулся:

– А куда...

*Октябрь 2005 г. – апрель 2006 г.
Алматы.*



ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ КАЗАХСТАНА

Герольд Карпович Бельгер

РАЗЛАД

Роман

Редактор *Есенбай Дүйсенбайұлы*
Художественный редактор *Бейсен Серикбаев*
Технический редактор *Зайра Бошанова*
Компьютерный дизайн *Манишук Шелекбаева*

ИБ № 6989

Подписано в печать 3.11.2008. Формат 84x108 $\frac{1}{32}$.
Бумага офсетная. Гарнитура "Таймс". Усл. печ. л. 10,92.
Печ. л. 13,0. Тираж 1000 экз. Заказ № 1069.

Республика Казахстан. 050009
г. Алматы, пр. Абая, 143. Издательство "Жазушы".

 **ТОО РПИК «Дәуір».** 050009. г. Алматы, пр. Гагарина, 93.
Тел.: 269-40-35, 242-47-69, 242-07-90.
E-mail: rpik-dauir81@mail.ru, rpik-dauir2@mail.ru

ISBN 978-601-200-145-7



9 786012 001457

*Герольд
Бельгер*

Герольд Бельгер (1934 г.р.) -
прозаик, переводчик,
эссеист, публицист.
Автор 43 книг
и более 1,5 тысячи
публикаций.
Лауреат
ряда общественных,
литературных
и журналистских премий.
Заслуженный
работник культуры
Казахстана.
Кавалер ордена "Парасат"
и семи медалей.
Живет в Алматы.